

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО •
• ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Институт славяноведения

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД



2003

ИЮЛЬ

АВГУСТ

Содержание

СТАТЬИ

- Хаванова О.В.* (Москва). "Хунгарская" и "мадьярская" проекции венгерской нации в общественной жизни и системе образования в конце XVIII века 3
- Свирида И.И.* (Москва) Пространство и культура: аспекты изучения..... 14

СООБЩЕНИЯ

- Курбатов О.А.* (Москва). "Литовский поход 7168 года" князя И.А. Хованского и битва при Полонке..... 25
- Носов Б.В.* (Москва). Политика правительства Екатерины II в отношении Речи Посполитой и военные планы России в 1762–1763 годы..... 41
- Косик В.И.* (Москва). Русская молодежь в эмиграции 47
- Савицкий И.* (Прага). Становление Парижа как столицы русской эмиграции..... 54
- Серационова Е.П.* (Москва). Т.Г. Масарик, К.Крамарж и русская эмиграция..... 60
- Крисань М.А.* (Варшава). В поисках потерянного мира. О функционировании элементов крестьянской культуры в условиях эмиграции (на примере польских крестьянских писем рубежа XIX–XX веков) 66

ПУБЛИКАЦИИ

- Заварин А.А.* (Сан-Франциско). Страницы из воспоминаний..... 74

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Васильев М.А.* Д.Е. Мишин. *Сакалиба* (славяне) в исламском мире в раннее средневековье 83
- Мишин Д.Е.* Е.С. Галкина. Тайны русского каганата 93
- Косик В.И.* Бялата эмиграция в България. Материали от научна конференция. София, 23 и 24 септември 1999 г..... 97

<i>Серпионова Е. Л.</i> Harbul'ová. Ruská emigrácia a Slovensko (Pôsobenie ruskej pooktóbrovej emigrácie na Slovensku v rokoch 1919–1939)	101
<i>Досталь М.Ю.</i> Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Česko-slovenské republice	104

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>И.С.</i> Конференция "Пространство в культуре. Культура в пространстве"	106
--	-----

ЮБИЛЕИ

<i>Дыбо В.А.</i> К юбилею Г.П. Нецименко	121
--	-----

НЕКРОЛОГИ

<i>Досталь М.Ю.</i> Памяти С.В. Смирнова	123
Памяти С.П. Бобровой	124
Новые издания Института славяноведения РАН	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.К. ВОЛКОВ (главный редактор),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, Г.К. ВЕНЕДИКТОВ,
Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,
В.В. МОЧАЛОВА, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,
М.А. РОБИНСОН (зам. главного редактора),
Л.А. СОФРОНОВА, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН

А.В. Болдов (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),
Васильев М.А. (отдел истории)

Зав. редакцией *Е.В. Пономарева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Веслова И.Ю., Кошкина Е.А.*

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Телефон 938-01-20
 E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru



© 2003 г. О. В. ХАВАНОВА

“ХУНГАРСКАЯ” И “МАДЬЯРСКАЯ” ПРОЕКЦИИ ВЕНГЕРСКОЙ НАЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНЦЕ XVIII ВЕКА

Динамика превращения венгерской дворянской “нации” (*natio Hungarica*) в нацию (и даже нации) буржуазной эпохи на рубеже XVIII–XIX вв. давно и плодотворно изучается в венгерской и российской исторической науке [1–3]. Большинство ученых сходится во мнении, что феодальный господствующий класс Венгерского королевства не смог бы долго подменять собой национальное сообщество, лишая гражданских прав непривилегированные сословия, и не был в силах и далее сохранять этническую пестроту своих рядов в эпоху, когда язык превращался в главный критерий принадлежности к той или иной нации. Поэтому *natio Hungarica* не могла не расколоться, уступая место моноэтничным, сплоченным по языковому принципу национальным образованиям. Не оспаривая правоту конечных выводов, хотелось бы отметить, что подобный подход отличается телеологичностью, поскольку в донациональной эпохе отмечается и исследуется только то, что содержит зародыш будущих национальных идеологий и указывает на последующее обострение межнациональных конфликтов.

Между тем в раннее Новое время этническое самосознание играло относительно малую роль, а такие социальные группы, как семья, народ, политические и церковные институты, обладали колоссальной значимостью. Примером того, как такие формы массового сознания успешно изучаются на материале других европейских народов, может служить новая книга английского историка К. Кидда “Британские идентичности до национализма: Этничность и нация в Атлантическом мире, 1600–1800” [4]. Для максимально точного описания идентичностей той эпохи Кидд отказывается от анахроничного, по его мнению, термина Э. Смита “этноцентризм” (поскольку в лексике той эпохи не было слова “этнос”) и предлагает использовать понятие “регнализм” (от латинского *regnum* – страна, королевство), впервые употребленное медиэвистом С. Рейнольдс [4. Р. 288]. Подобно тому как англосаксы и кельты стали непримиримыми антиподами лишь в контексте расовых теорий XIX в., так и в Венгрии раннего Нового времени мадьяры, славяне и немцы в идеологии и социальной политике элит не противопоставлялись, но сосуществовали не только в рамках средневековой венгерской нации (*natio Hungarica*), объединявшей господст-

Хаванова Ольга Владимировна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

вующий класс, но и в контексте более широкого понятия *Hungari*, включавшего всех жителей королевства Венгрия.

Современная венгерская историография в целом не оспаривает того факта, что ранее Новое время было эпохой мирного сосуществования разных этносов. Литературовед Ф. Биро отмечает, что в середине XVIII в. “сформировалось такое патриотическое чувство, которое было связано не с этносом или языком, но с территорией. Современники нередко писали, проповедовали или преподавали на двух-трех языках, за границей же, вне зависимости от родного языка они называли себя *Hungari*”. У этой ситуации, по мнению автора, было две причины: во-первых, использование того или иного языка в повседневной жизни определялось практической целесообразностью, которая не оскорбляла ничьих чувств, во-вторых, у общественной и научной жизни был общий и общепринятый язык-посредник – латынь [5. 117. old.].

В венгерской исторической литературе термин “*Hungari*” чаще употребляется как обобщающий для представителей невенгерских народностей королевства, о которых венгерская исследовательница Э. Балаж образно сказала: “Их родным языком не обязательно был венгерский, но они руководствовались любовью к родной земле” [6. P. 320]. Однако в более расширительном значении термин может и должен употребляться для обозначения всех жителей королевства, которые были *Hungari* с точки зрения подданства или государственной принадлежности. Перед историком, изучающим раннее Новое время, стоит задача синхронизации научного языка с языком, на котором говорила донациональная эпоха, когда представители дворянства, чиновничества, духовенства, армии, интеллигенции вне зависимости от родного языка, места рождения, самоидентификации и т.д. объективно составляли основу возможной в будущем территориальной венгерской нации.

Антропологи и этнологи не устают повторять, что идентичность – это не шляпа, которую всякий раз более одной не наденешь. “Хунгарская” идентичность в ту пору сосуществовала с любовью к малой родине и родному языку, с одной стороны, и верностью Габсбургской монархии – с другой, при этом не всегда занимала в этой иерархии первое место. Долгое время мысли и поступки людей XVIII в. расценивались с точки зрения критериев соответствия венгерской буржуазной нации, какой она сложилась и заявила о себе в конце XIX в., поэтому в членстве в нации отказывалось тем, для кого “мадьярская” идентичность не стояла на первом месте.

Во второй половине XVIII в. венгерская политическая нация, наряду с сохранявшими свою остроту конфессиональными противоречиями, была разделена в зависимости от своего отношения к программе модернизации государства и общества, проводившей австрийским просвещенным абсолютизмом. Долгое время историография делила дворянство на патриотически настроенное и “денационализированное”, поступившее на службу Габсбургам и превратившееся в агентов их влияния [7. 5–107. old.]. Только в последние десятилетия, прежде всего в работах Д. Кошари, была предпринята попытка по достоинству оценить их вклад в модернизацию государства и общества и “признать” за ними право на любовь и верность родной стране [8. S. 215]. Несомненно, в рядах дворянства (в особенности “новых людей”, своим возвышением всецело обязанных династии) было немало таких, для кого личная преданность Габсбургам брала верх над государственно-правовыми интересами Венгерского королевства. Но достаточно более пристально взглянуть на круг интересов и характер личных связей многих представителей дружественной Вене венгерской аристократии, чтобы убедиться в том, что это были истинные государственники, имеющие полное право именоваться *Hungari*.

Характерен пример государственного деятеля конца XVIII в. графа Антала Брунсвика-младшего (1746–1793). По неподтвержденной легенде, его род восходил к герцогам Брауншвейгским, однако вплоть до середины XVIII в. Брунсвики оставались мелкими дворянами; в XVII в. они были протестантами, в XVIII в. – вновь католиками [9. 1–4. old.]. Почет, богатство, а с ними и графский титул семье принес Антал Брунsvик-старший – просвещенный бюрократ эпохи Марии Терезии, который

прославился успешным проведением урбариальной реформы в целом ряде венгерских комитатов [10. Р. 327]. Его сыновья, Антал и Йожеф, обучались в лучшем привилегированном учебном заведении монархии Габсбургов, венском Терезиануме, где наряду со свободным владением несколькими иностранными языками, глубокими познаниями в экономике и праве, философии и истории обрели интеллектуальную открытость и восприимчивость к духовным веяниям эпохи. Молодые люди переписывались друг с другом по-немецки, с отцом – на латыни, с зятем – венгерским лейб-гвардейцем – по-венгерски. Их фамилия, звучавшая непривычно для венгерского уха, заставляла многих думать, что они этнические немцы, но в венских кругах, несмотря на блестящее владение немецким, их считали прежде всего венграми (*Ungar*). На публичном выпускном экзамене в Терезиануме Антал Брунsvик продемонстрировал “неожиданно блестящее для венгра владение немецким языком”, чем вызвал у профессоров и титулованных гостей неподдельное восхищение [11].

Лояльный Вене бюрократ А. Брунsvик не противопоставлял себя мадьярскому этносу, живо откликался на события культурной жизни королевства, понимал значение изучения венгерского языка для сохранения и укрепления венгерской государственности. Еще в 1770 г. Антал, в то время мелкий чиновник в Венгерской казенной палате, скорее всего по совету одного из своих бывших учителей, выдающегося венгерского историка и источниковеда Д. Праи, с интересом прочел и с восторгом принял (о чем писал в письме к отцу [12]) ставшую впоследствии знаменитой книгу астронома Я. Шайновича “Демонстрация тождественности языка венгров и лопарей”, труд, который открыто критиковали многие “патриотически настроенные” венгры, привыкшие считать себя потомками воинственных гуннов, но никак не родственниками “пропахших рыбьим жиром” миролюбивых финнов [5. 176 old.]. Спустя годы А. Брунsvик будет настаивать на полноценном преподавании венгерского языка в средней школе не только мальчикам, но и девочкам. Можно сказать, что А. Брунsvик как государственный служащий, не чуждый просвещенным идеалам эпохи, сочетал верность Венгерскому королевству с верностью Габсбургскому дому и как подданный короны св. Стефана считал себя венгром, которому не безразличны язык и культура родной страны.

Другой социальной группой, чья принадлежность к сообществу “*Hungari*” долгое время ставилась под вопрос или сопровождалась целым рядом оговорок, были невенгерские народы королевства, у которых хунгарская идентичность не перерастала в мадьярскую. Хрестоматийным может служить пример Франтишека Адама Коллара (1718–1783), историка и источниковеда, придворного библиотекаря императрицы Марии Терезии. Уроженец Верхней Венгрии (территория современной Словакии), он считал себя славянином по рождению и венгром (*Hungarus*) по государственной принадлежности. Коллар стал членом *natio Hungarica* только в 1776 г., после того как императрица пожаловала ему дворянский титул и поместье. Его критическое отношение к сохранению комплекса дворянских привилегий и поддержка просвещенного абсолютизма в стремлении модернизировать правовую и политическую систему Венгрии вызывали резко негативную реакцию в королевстве. Особую известность приобрели события, произошедшие во время Государственного собрания 1764–1765 гг., когда разгневанное дворянство сожгло книгу Коллара, в которой тот доказывал, что венгерские короли с древнейших времен имели право облагать духовенство налогом, и резко негативно высказывался о налоговом иммунитете дворянства.

Венгерская историография долгое время ставила знак равенства между признаками Коллара в своем славянском происхождении и приписываемой ему ярой ненавистью к венграм. Против этих упрощенных утверждений решительно выступил Д. Кошари в своем фундаментальном труде “Культура в Венгрии XVIII века” [13. 293–295. old.]. В недавно вышедшем сборнике писем Ф.А. Коллара венгерский историк И. Шош на основе текстологического анализа еще раз убедительно показал, что Коллар противопоставлял себя не венграм, но массе венгерского дворянства с

его устаревшими представлениями о сословных привилегиях. Даже после многих лет, проведенных в Вене, он оставался патриотом Венгрии, страны, где родился, провел молодые годы, впервые приобщился к наукам и учености. В этой связи научную деятельность Коллара следует рассматривать как служение венгерскому отечеству, как деятельность, направленную на культурное развитие родной страны. Антиисторично приписывать Коллару венгерскую или словацкую национальную идентичность, заключает Шоош, выискивать в его образе мышления венгерскую или словацкую самоидентификацию, если подобная терминология отсутствовала в языке той эпохи [14. 11. old.].

Другой типичный представитель сообщества *Hungari*, Миклош Шкерлец (в хорватской традиции Никола Шкрлецкий, 1731–1797), напротив, органично сочетал хорватскую и венгерскую идентичность с чувством принадлежности к монархии Габсбургов. Он свободно владел хорватским, венгерским, немецким языками, латынью. В Хорватии его считали хорватом и уважали за неустанную деятельность во благо родного края. В Венгрии многолетняя служба в государственном аппарате, ясная гражданская позиция, прежде всего в вопросе о негативных последствиях австрийской экономической политики для Венгерского королевства (см.: [15]), снискали Шкерлецу славу истинно венгерского патриота. В молодости он изучал экономику в Болонье и потом всю свою жизнь был страстным пропагандистом экономических знаний и неутомимым практиком, внедрявшим новые формы и методы хозяйствования [16. С. 22–23]. Характерно, что в Наместническом совете М. Шкерлец в 70-е годы XVIII в. трудился бок о бок с Ференцем Шкерлецем, своим дальним родственником (представителем венгерской ветви семейства), которого вернее было бы назвать однофамильцем. Их имена в протоколах заседаний Комиссии по делам образования при Наместническом совете всегда стояли вместе, оба Шкерлеца поочередно реферировали схожие по тематике вопросы к текущим заседаниям комиссии, чем зримо воплощали не только дворянскую политическую нацию, но и территориальную модель нации.

Несмотря на то что господствующий класс по-прежнему определял характер политической системы королевства и отказывал в гражданских правах подавляющему большинству его населения, важной характеристикой венгерского общества во второй половине XVIII в. стало дальнейшее расширение понятия “политическая нация” – включение в него представителей непривилегированных социальных групп, что также способствовало консолидации над-“национальной” общности, включающей в себя (в идеале) все население страны. В сословном обществе одной из форм предоставления членства в политической нации, а с ним и политического полноправия оставалось возведение в дворянское достоинство. Этой привилегии могли удостоиться и солдат, и мелкий чиновник, и дипломированный врач за многолетнюю примерную службу. Сам по себе дворянский титул, даже если его присвоение не сопровождалось пожалованием имения, резко повышал социальную мобильность: давал право участвовать в работе органов сословного самоуправления, занимать предназначенные только для дворян руководящие должности, наконец, отправить детей в привилегированные учебные заведения в надежде, что их карьера сложится еще более удачно, чем у родителей.

Австрийский историк XIX в. И. Шварц писал, что образование – это зеркало, в котором отражается общество. Система образования, существовавшая в королевстве во второй половине XVIII в., свидетельствовала о процессах вертикальной и горизонтальной консолидации формирующейся “хунгарской” нации, т.е. о расширении доступа к образованию, прежде всего элитарному, и о расширении географии, т.е. внутренней миграции учителей и учеников. До 60-х годов XVIII в. дворяне и недворяне обучались совместно лишь в некоторых (не самых престижных) коллегиях и в университетах. В 1763 г. в городке Сенц (ныне Сенец в Словакии) был открыт первый на территории Венгерского королевства Политико-экономический коллегийум, куда наряду с мелким дворянством начали принимать детей мелких чиновников Ка-

зенной палаты и подчиненных ей таможенных, налоговых и финансовых ведомств [17. 531–554. old.]. Сохранившиеся школьные ведомости свидетельствуют, что воспитанники были не только мадьярского, но и немецкого и славянского происхождения, на что указывают и языки, которыми те владели [18]. При приеме ни один из соискателей не был отвергнут из-за этнической принадлежности, поскольку главными критериями являлись выслуга лет отца и успеваемость сына. Успешный опыт преподавания политико-экономических (или, как говорили в то время, камеральных) наук был вскоре повторен на юге королевства: в 1769 г. в Вараждине открывается первый на территории Королевства Хорватия-Славония Политико-экономический коллегийум. Большинство учеников были уроженцы Хорватии, но, согласно спискам, опубликованным хорватским историком В. Баером, встречались юноши из венгерских комитатов [19. S. 209–247]. Помимо этого, в 1767 г. в венгерском городе Вац обычный коллегийум для бедных дворян был превращен в Терезианский коллегийум (названный по имени императрицы Марии Терезии и смоделированный по образцу венского Терезианского коллегийума), в котором были предусмотрены стипендиальные квоты для юношей из Хорватии и Трансильвании, а также для сыновей служащих венгерской Казенной палаты [20]. В условиях, когда просвещенный абсолютизм все настойчивее требовал от подданных, стремившихся к успешной чиновничьей карьере, образовательного уровня, необходимого для решения сложных задач управления государством, школа превращалась в инструмент конструирования не только властных элит, но и национального сообщества в целом.

Школьная система, существовавшая в королевстве во второй половине XVIII в., в известной мере отражала ту систему общественных отношений, при которой социальный статус или вероисповедание значили больше, чем родной язык и этническая принадлежность. Учебные заведения Венгерского королевства могли делить население страны по сословному признаку (в ряд привилегированных школ принимались лишь дворяне), противопоставлять по религиозному признаку (католики, кальвинисты, лютеране, православные обучались раздельно), но вопрос о национальности при зачислении практически никогда не возникал. Язык учености той эпохи, латынь, уравнивал венгров и словаков, немцев и хорватов в их стремлении получить образование. Местные языки и диалекты (те, на которых говорили в данной местности), будь то венгерский, немецкий или один из славянских, активно использовался и иезуитами, и пиаристами (двумя соперничавшими друг с другом католическими орденами, которым принадлежало большинство католических школ в Венгрии) при преподавании закона Божьего, истории и постановке крайне популярных в то время “школьных драм” – любительских спектаклей на назидательные темы, разыгрываемых учениками [21. 108–125. old.].

XVIII век знал только одну форму легитимации этнических сообществ – государственность, поэтому, как говорилось выше, изо всех этнических групп Венгрии только хорваты, точнее, выходцы из Хорватии, имели специальные квоты в некоторых учебных заведениях королевства (не по этническому, но по регналистскому принципу). Создание специальных квот для хорватов не отделяло их от основной массы учащихся, но, напротив, теснее инкорпорировало их в сообщество *Hungari*. Когда же в 1781 г. император Иосиф II отдал одну из вакансий в королевской академии в Буде сыну военного хирурга из Чехии по имени Росберский, в ответном протесте Венгерская канцелярия написала: “Всепослушнейшая сия канцелярия нижайше просит, чтобы по крайней мере этого Росберского поместили бы по Вашей милости в какое-нибудь другое учебное заведение в Германских (т.е. Австро-Чешских. – О.Х.) Наследственных провинциях, где таковых заведений больше, чем в Венгрии, и в которых венгры не могут получать стипендии” [22]. Иными словами, в силу вступил принцип регнализма, согласно которому выходец из другого государства (Австро-Чешские провинции в данном случае воспринимались как заграница), вне зависимости от его этнической принадлежности, рассматривался как иноземец.

Система обучения, при которой выпускник не терял свою базовую этнокультурную идентичность и добавлял к ней государственно-политическую лояльность Венгерскому королевству и монархии Габсбургов, давала уникальные плоды. *Hungari* родом из разных частей страны составляли славу своего народа и своей страны. Ярким представителем этой группы может считаться профессор камеральных (политико-экономических) наук, пионер хорватской статистики Адальберт Барич (1742–1813). Уроженец Нови Сада, он изучал экономику и право у крупнейшего идеолога австрийского просвещенного абсолютизма Й. Зоненфельза в Венском университете, в 1769 г. был назначен профессором вновь созданного Политико-экономического коллегия в Вараждине. Однако в 1772 г. Барич был вынужден обратиться к властям с жалобой на то, что уровень подготовки воспитанников год от года становится все ниже, и на этом основании просить перевести его в Загребский университет [23]. Венгерская канцелярия пошла ученому навстречу, и с 1772 по 1776 г. Барич трудился в Загребе. В 1776/1777 учебном году он некоторое время преподавал в только что реформированной королевской академии в венгерском городе Дьере, но вскоре был приглашен в Будапештский университет, недавно переведенный туда из Трнавы, а в 1784 г. вновь переселенный из Буды в Пешт. Именно там Барич достиг вершин своей карьеры, став в 1786 г. его ректором [24].

Некоторые *Hungari* славянского происхождения применяли полученные знания на службе в России, достигая при этом высокого общественного положения. В этой связи особого внимания заслуживают работы венгерского историка Ласло В. Молнара, который в своих трудах через десятки судеб уроженцев Венгрии, связавших свою судьбу с Россией, воссоздает интереснейшие подробности взаимодействий между народами и культурами [25]. Уроженец Закарпатья Михаил Балудянский окончил королевскую академию в Кошице, продолжил образование на юридическом факультете Венского университета у Й. Зоненфельза и в 1789 г., по возвращении в Венгрию, возглавил кафедру в королевской академии в Надьварде (совр. Орадя Маре в Румынии). Получив в 1796 г. ученую степень доктора права, Балудянский вскоре перешел в Пештский университет, где возглавил юридический факультет. Когда в начале XIX в. М. Сперанский через дипломатические миссии в Европе искал ученых людей из славян (и желательно православных), чьи знания и опыт могли быть востребованы на ниве народного просвещения в России, выбор пал на Балудянского. Он был приглашен в Петербург, где теперь под именем Михаила Андреевича Балугьянского около тридцати лет возглавлял Санкт-Петербургский университет и умер в 1847 г. в должности сенатора и чине тайного советника [26].

Как было сказано выше, языком обучения в школах всех уровней была латынь, в некоторых случаях немецкий. Остальные языки королевства находились на той ступени развития, которая не позволяла полноценно использовать их в процессе обучения. Создатели нового школьного уложения, известного как "*Ratio educationis*", введенного в Венгерском королевстве в 1777 г., полагали, что многоязычие должно быть не только сохранено, но и все ступени школьной системы должны приспособиться к существующей языковой ситуации. "В Венгрии живет много народностей и, следовательно, существует много языков, – говорилось в уложении, – поэтому то, что житель страны знает много языков, отечеству будет только на пользу" [27. 76. old.]. Для каждого народа (венгров, немцев, хорватов, сербов, словаков, русин, румын) должны были быть созданы языковые школы, в которых материал объяснялся детям на их родном языке. В малых гимназиях должно было быть по крайней мере два учителя, которые владели языками не большинства населения данной местности: в местах расселения венгров – учитель, говоривший по-немецки и учитель, говоривший по-словацки, в местах компактного проживания немцев – по-венгерски и по-словацки и т.д. Таким образом, полагали авторы уложения, родители избавлялись от необходимости нанимать частных учителей или посылать детей учиться далеко от дома [27. 123, 130–131. old.]. Историки справедливо отмечают, что в основе первых успехов национальных движений невенгерских народов королевства лежало

терпимое, даже бережное отношение авторов школьного уложения к языкам народов, проживавших на территории Венгрии [28. Р. 229].

Возможно, одной из причин такого языкового плюрализма являлось то обстоятельство, что авторы “*Ratio educationis*” были по вероисповеданию католиками. Американский историк Д. Белл в своей новой книге о культе нации во Франции в XVIII в., проанализировав отношение к языку как инструменту национального строительства у католиков и протестантов, пришел к интересным выводам. Известно, что протестантизм делал акцент на самостоятельное чтение Библии, и поскольку осуществить перевод Библии на все многообразие диалектов не представлялось возможным (как из-за нехватки людей и финансовых ресурсов, так и из того опасения, что в переводы священных текстов вкрадутся ошибки), протестанты по всей Европе приводили языки к единой норме, желательно, практикуемой при правящем дворе. Католическое духовенство, те же иезуиты, напротив, старательно изучали местные языки, чтобы на них и через них общаться со своей по большому числу неграмотной паствой, используя силу устного слова священника, эмоциональное воздействие проповеди на прихожан в тех частях мессы, которые к тому времени велись не на латыни, а на живых языках и диалектах. Этим, полагает Белл, и может объясняться известная терпимость католиков к языковому плюрализму в раннее Новое время [29. Р. 191–194].

Несомненно, венгерская конфессиональная, языковая, этническая ситуация отличалась от французской, но, возможно, одна из причин терпимости к языковому плюрализму, который и был залогом существования идентичности *Hungari*, кроется в проецировании католических практик на школьную систему. С другой стороны, если проследить в венгерской политической литературе такой мотив, как требование ко всем жителям королевства знать венгерский, хотя бы по той причине, что они “едят венгерский хлеб”, то он, несомненно, чаще встречался у протестантов по вероисповеданию: Д. Бешенеи – классика венгерской литературы XVIII в., с которого по традиции начинается венгерская литература Нового времени, или у Ф. Казинци – писателя, переводчика и лидера движения за возрождение венгерского языка первой половины XIX в.

Историки традиционно приписывают превращение национального языка в инструмент централизации и национальной консолидации влиянию примера Франции. Точнее, влиянию идеального образа централизованной Французской монархии, как она виделась из Центральной Европы. То, что даже в 1793 г. из 26 млн французов только 10 млн говорили по-французски, а еще 3 млн в том числе по-французски [5. 118. old.], издали казалось не столь важным. Начиная с XVII в. для австро-чешской политической элиты Франция с ее политическим, административным, военным и прогрессирующим культурным единообразием была предметом зависти и недостижимой мечтой. Теперь же, в XVIII в., немецкий язык, как и французский во Франции, должен был стать инструментом консолидации разрозненных земель монархии, превращения ее в фактически унитарное государство.

Эти процессы начались подспудно, причем не в последнюю очередь в сфере образования, когда обучение в самых престижных учебных заведениях монархии становилось невозможным без знания немецкого. В начале 50-х годов XVIII в. в венской Савойской академии профессоров права обязали читать лекции по-немецки, а для воспитанников, чье знание немецкого было недостаточно хорошим, предлагалось нанять репетиторов, поскольку, как говорилось в официальных документах академии, эти венгры и итальянцы (именно они знали латынь лучше немецкого) приехали в Вену как раз затем, чтобы совершенствоваться в немецком [30. S. 14]. Однако в эпоху Марии Терезии германизация проводилась мягко и затрагивала в первую очередь политические элиты земель и провинций монархии. Для широких масс, напротив, даже после школьной реформы 1774 г. в австро-чешских провинциях, родные языки большинства населения данной области сохранялись в качестве языка обучения, немецкий же – как общий язык будущей единой монархии – преподавался, но отнюдь не навязывался. Например, словенцы Военной Границы были

освобождены от уплаты специального налога, шедшего на поддержание немецких школ [28. P. 226].

Известно, что сильнейшим импульсом к борьбе за провозглашение венгерского языка государственным стала централизаторская политика императора Иосифа II, который стремился лишить Венгрию ее коренящейся в феодальных привилегиях автономии и в ряду других мер декретом от 1784 г. превратил немецкий язык в единственный официальный на всей территории монархии, в том числе в Венгрии. Однако проблема развития (или, как говорили в ту эпоху, “возрождения”) венгерского языка была сформулирована несколько раньше, в 70-е годы XVIII в., когда интеллигенция и увлеченные идеями Просвещения дворянство поставили целью через превращение венгерского языка в язык высокой литературы и науки привести общество к благоденствию и процветанию. Характерно при этом, что венгерская газета “*Hadi és más nevezetes történetek*” связывала начало превращения русского языка из разговорного в литературный с именем Петра I [31. 285. old.], в чье правление, как полагали европейцы той эпохи, Россия, избавившись от азиатского варварства, пошла по пути европейской цивилизации [32. S. 308–309].

Идеолог движения, Д. Бешенеи, руководствовался благороднейшим стремлением сделать культуру подлинно национальной, приобщив к ней низшие слои населения (ведь не приходилось ожидать, что венгерские крестьяне овладеют каким-либо иным языком, кроме родного). Патриотически настроенная интеллигенция, следуя призыву Бешенеи, включилась в составление словарей, издание книг и журналов, перевод на родной язык выдающихся произведений мировой литературы. Сочувствовавшее движению дворянство выступало в роли щедрых меценатов, открывало для широкой публики свои частные библиотеки, нередко само бралось за перо. Появление у дворянства интереса к судьбам родной словесности образно описывается как замена меча (символа доблести средневекового господствующего класса) на перо (символ верности идеям Просвещения) [5. 128–129. old.].

Декрет Иосифа II о немецком языке перевел движение за возрождение языка в политическую сферу, однако между желанием превратить венгерский в язык высокой культуры и требованием провозгласить его в качестве государственного было бы опасно ставить знак равенства. Венгерский, до сих пор не имевший стандартного правописания, лексика которого была отягощена латинизмами и германизмами, не мог в одночасье заменить латынь в делопроизводстве, суде, торговле, науке, образовании. Невенгерские народности королевства, которых устраивала латынь как язык межнационального общения, не были готовы перейти на венгерский язык, которому еще только предстояло сформироваться как литературному и овладение которым представлялось им делом сколь многотрудным, столь и бесполезным. В силу этих обстоятельств дворянство, протестуя против введения немецкого языка, предлагало вернуться к мертвой латыни. В этой позиции было мало мадьярского патриотизма, но много государственной мудрости. Кратковременное *de facto* превращение венгерского в государственный в конце 1789 г. и начале 1790 г. доказало преждевременность такого эксперимента с чисто филологической точки зрения и продемонстрировало враждебность невенгерских народов, прежде всего хорватов, этой идее.

Если для широких слоев интеллигенции венгерского происхождения, т.е. для людей, одним из главных богатств которых являлось владение родным языком, движение за возрождение языка было способом повышения своего общественного статуса, то для господствующего класса в целом это движение оставалось инструментом сохранения политической независимости королевства и собственного статуса. С отменой большинства реформ Иосифа II в январе 1790 г. было решено большинством задач, стоявших перед дворянством. С открытием сейма летом 1790 г. стало ясно, что сословия гораздо более озабочены подтверждением своих политических прав и урегулированием своих отношений с центральной властью, чем судьбами родной словесности. Верно заметил современник этих событий писатель Ш. Дечи, весьма скептически оценивавший потенциал сословной оппозиции: “Страстная привержен-

ность дворянства к родному языку вызвана не подлинной заботой о судьбе национального языка, а страхом потерять свои сословные привилегии, и как только удастся получить верные гарантии неприкосновенности дворянских свобод, они тут же забудут о языке” [33. 322. old.]. Тем не менее в политической литературе 1790-х годов венгерский язык уже прочно воспринимался в качестве атрибута и символа нации.

В первой половине XIX в. в стране окрепли силы, не только ставившие целью превратить венгерский язык в государственный, но и, вслед за немецким философ-романтиком Й.Г. Гердером, стремившиеся связать понятие “нация”, “государство” и “язык”. Для многих провозглашение венгерского языка единственным государственным языком королевства было важнее, чем социальные реформы, способствовавшие устранению устаревших сословных институтов. Наиболее последовательная критика подобной позиции была изложена в письме видного венгерского экономиста Г. Берзевици (кстати, протестанта) к лидеру движения за возрождение языка Ф. Казинци. “Вы развиваете идею национализма, – писал Берзевици, – я же придерживаюсь иного мнения, поскольку национализм сам по себе несколько односторонен и поскольку мы в Венгрии не представляем собой нацию”. И далее: “По моему определению, на первом месте стоит государство с его независимостью, самостоятельностью и максимально возможным счастьем жителей <...> остальное, например национализм, привилегии, конституция, обычаи, занимает подчиненное положение” [34. S. 159; 164].

Для Ф. Казинци, напротив, величайшая служба отечеству состояла не в улучшении социальных и экономических условий для населения, но в улучшении образования и реформе венгерского языка. Влияние Казинци на современников и на последующие поколения весьма значительно. Концепция венгерского национального государства, основным критерием которого был венгерский язык, не в последнюю очередь восходит именно к нему, и многочисленные венгерские шовинистические политики и деятели культуры позднее апеллировали именно к Казинци. Анализируя причины, по которым мадьярская проекция нации восторжествовала, австрийский историк венгерского происхождения М. Чаки приходит к выводу, что “изоляционистский мадьярский национализм противоречил по сути своей либеральным принципам равенства и свободы, поскольку он признавал единственным критерием гражданства язык”. Государственный патриотизм *Hungari*, напротив, хотел придать значимость всем национальностям и языкам в соответствии с принципами либерализма. Но когда те, кто исповедовал либерализм, возвели языковой национализм в свой программный принцип, это не могло не стать оправданием национализма как такового, ибо он всегда принимает репрессивную и антилиберальную форму. В результате “принципиальная несовместимость свободы, равенства и национализма неизбежно привела к закату либерализма” [34. S. 169].

Важно, вслед за выдающимся венгерским историком Д. Секфю, подчеркнуть, что на рубеже XVIII–XIX вв. венгры не подозревали, что их желание сделать венгерский язык государственным в стране, где господствующий этнос не составлял и половины от общего числа жителей, заложит фундамент будущих межнациональных конфликтов, поскольку и западноевропейские философы-рационалисты не предвидели эти последствия [35. 150. old.]. Так или иначе, в Венгрии XIX в. победил не толерантный вариант государственного патриотизма, представленного *Hungari*, но изоляционистский мадьяризаторский национализм, что не в последнюю очередь стало одной из причин кровавых столкновений в период революции 1848 г. и послужило источником внутривенгерской нестабильности в эпоху дуализма.

“Хунгарская” идентичность не стала для народов Венгерского королевства тем, чем стала для англичан, шотландцев, уэльсцев, части ирландцев британская идентичность. Мало кто вспоминает сегодня, что в момент образования Соединенного Королевства в 1707 г. его иронично уподобляли Святой Троице – триединой и в единстве своем подобной чуду [36. P. 11]. Однако в конце XVIII – первой половине XIX в. правящая династия и политическая элита сумели облечь идею членства в бри-

танской нации в привлекательную для широких народных масс форму. Патриотизм, считает британский историк Л. Колли, неразрывно сопряжен с гражданским равноправием. Британцы лишь тогда стали нацией, когда осознали, что членство в этом сообществе несет им каждодневную и долгосрочную выгоду, будь то желание сделать карьеру, надежда получить прибыль или защита от внешнего врага [36. Р. 371].

“Хунгарская” протонациональная общность прекратила свое существование, когда ее члены потеряли интерес в сохранении status quo. Однако навсегда утраченный межэтнический мир продолжает вызывать интерес ученых, поэтому не случайно, что в последние годы венгерские, словацкие, хорватские историки, преодолевая горькое наследие XIX в., стремятся к непредвзятому анализу донационального прошлого, где помимо зерен будущих конфликтов кроется опыт мирного и созидательного общежития народов, не сумевших в изменившихся обстоятельствах выработать механизм сосуществования в рамках наднациональной территориальной общности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Arató E. A magyar “nemzeti” ideológia jellemző vonásai a XVIII században // Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Budapest, 1972.
2. Arató E. A feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig. A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei. Budapest, 1975.
3. Исламов Т.М. От “нацио хунгарика” к венгерской нации // У истоков формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Общественное развитие и генезис национального самосознания / Отв. ред. А.С. Мыльников. М., 1984.
4. Kidd C. British Identities Before Nationalism: Ethnicity and Nationhood in the Atlantic World, 1600–1800. Cambridge, 1999.
5. Bíró F. A felvilágosodás korának magyar irodalma. Budapest, 1998.
6. Balázs É. Hungary and the Habsburgs, 1765–1800: An Experiment in Enlightened Absolutism. Budapest, 1997.
7. Wellmann I. Barokk és felvilágosodás // Magyar művelődéstörténet / Szerk. S. Domanovszky. IV köt. Barokk és felvilágosítás / Szerk. I. Wellmann. Budapest, 1941.
8. Kosáry D. Aufgeklärter Absolutismus – aufgeklärte Ständepolitik: Zur Geschichte Ungarns im 18. Jahrhundert // Südost-Forschungen. 1980. Vol. XXXIX.
9. Czeke M. Gróf Brunszvik Teréz ősei és oldalági rokonsága. Adatok a grófi Brunszvik-család történetéhez. Budapest, 1935.
10. Szabo F.A.J. Kaunitz and Enlightened Absolutism, 1753–1780. Cambridge, 1994.
11. Wienerisches Diarium. 1766. № 73.
12. Magyar Országos Levéltár. Brunszvik család. P 68. 2. cs. Письмо от 8 июля 1770 г.
13. Kosáry D. Művelődés a XVIII századi Magyarországon. Budapest, 1980.
14. Kollár Ádám Ferenc levelezése / A leveleket sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Soós I. Budapest, 2000.
15. Nikola Škrlec Lomnički, 1729–1799. Zagreb, 1999–2001. Sv. 1–3.
16. Хаванова О.В. Нация – отечество – патриотизм в венгерской политической культуре: Движение 1790 г. М., 2000.
17. Hegyi F. A Szenci Collegium Oeconomicum, 1763–1776–1780 // Irodalmi Szemle. Pozsony, 1983. 26. sz.
18. Magyar Országos Levéltár. Magyar Királyi Helytartó Tanács Levéltára. C 39. Acta fundacionalia. Lad. E. Fasc. 30.
19. Bayer V. Političko-kameralni studij u Hrvatskoj u XVIII stoljeć (1769–1776) // Zbornik Pravno fakulteta. Zagreb, 1967. XVII. Br. 2.
20. Kisparti J. A Váci Theresianum története. Vác, 1914.
21. Finácsy E. A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. Budapest, 1899. I. köt.
22. Magyar Országos Levéltár. Magyar Királyi Kancellária Levéltára. Acta generalia. A 39. 5312/1781.
23. Magyar Országos Levéltár. Acta generalia. A 39. 4855/1772.
24. Barić A.A. Statistica Europae. Zagreb, 2002. Vol. I–II.
25. Молнар Л. Русско-венгерские культурные связи (1750–1815 гг.). Йошкар-Ола, 1994.
26. Фатеев А.Н. Академическая и государственная деятельность М.А. Балудянского в России. Ужгород, 1931.

27. *Ratio educationis*. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása / Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Mészáros I. Budapest, 1981.
28. *Melton van Horn J.* Absolutism and the Eighteenth-Century Origins of Compulsory Schooling in Prussia and Austria. Cambridge, 1988.
29. *Bell D.A.* The Cult of Nation in France: Inventing Nationalism, 1680–1800. Cambridge (Massachusetts); London, 2001.
30. *Schwarz J.* Geschichte der Savoy'schen Ritter-Akkademie in Wien vom Jahre 1746 bis 1778. Wien, 1897.
31. Hadi és más nevezetes történetek. 1790. I. félév.
32. Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte zum Gebrauche der studierenden Jugend in den k.k. Staaten. Wien, 1781.
33. *Décsi S.* Pannoniai Foenix. s.d. et l.
34. *Csáky M.* Von der Aufklärung zum Liberalismus. Studien zum Frühliberalismus in Ungarn. Wien, 1981.
35. *Szekfü Gy.* Nemzetiségi kérdés rövid története // Állam és nemzet. Tanulmányok a nemzetiségi kérdésről. Budapest, 1942.
36. *Colley L.* Britons: Forging the Nation, 1707–1837. London, 1992.



© 2003 г. И. И. СВИРИДА

ПРОСТРАНСТВО И КУЛЬТУРА: АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ¹

Проблема “пространство и культура” громадна, как всякая проблема, затрагивающая глобальные вопросы, среди которых – “человек в контексте культуры”, “натура и культура”, “культура и история”, “сакральное и светское”². Это вопросы экзистенциальные, касающиеся отношения человека к самому себе, к природе, к Богу, к историческому времени. В данном случае в центре внимания – место человека в пространстве, его отношение к пространству и претворение им пространства.

Необъятность данной темы – особого рода. Не только потому, что пространство бесконечно и неизбывно. Пространство культуры, о котором идет речь, – результат человеческой деятельности. Это пространство постоянно растущее, превращающееся в геологический фактор, образующее ноосферу. Само изучение связанных с ним проблем уже является процессом его разрастания. Культурное пространство в целом можно представить как бесконечное или бесконечно расширяющееся.

Термин *пространство* в последние годы стал весьма употребительным и даже модным. Если раньше принято было писать о чем-то “в контексте культуры”, то теперь все чаще можно увидеть словосочетание “в культурном пространстве” или “в пространстве культуры”, что, впрочем, как нам представляется, более продуктивно и, несомненно, является следствием того повышенного внимания к категории пространства, которое уделяется ей в сегодняшних исследованиях. В современной науке происходит усложнение концепции пространства. В результате культура предстает как целое, способное воспроизводить сложные взаимопроникающие пространственно-временные структуры, которые обладают повышенной семантикой.

Разработка проблемы культурного пространства в значительной мере способствовала становлению истории культуры в качестве самостоятельной научной дисциплины, помогала ей маркировать собственные границы, ставить свои вопросы к текстам, представляющим разные области культуры, а в поисках ответа на эти вопросы отделяться от таких научных дисциплин, как история, филология, искусствознание, музыковедение, и вместе с тем по сути сближаться с ними.

Свирида Инесса Ильинична – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

¹ Статья подготовлена в рамках проекта “Культурное пространство. Славянский мир”, поддержанного РГНФ (№ 01-01-00299а; 2001–2000, руководитель И.И. Свирида).

² Эти проблемы нашли отражение в работах Отдела истории культуры Института славяноведения РАН, где реализован проект [1]. По проекту “Сакральное и светское” (руководитель Л.А. Софронова) были проведены “круглый стол” “Религиозные мотивы в славянской культуре (см.: [2]) и корференция “Сакральное и светское” (см.: [3]).

Изучение пространства художественных текстов восходит к работам Павла Флоренского “Обратная перспектива” (1922), “Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях” (1924). В них он показал, что пространство картины не следует видимой натуре, но создается “разумом, сотворчески воспроизводящим в себе картину” и не верящим “в устройство мира по Эвклиду (т.е. в изотропное, гомогенное пространство. – И.С.), как и в восприятие этого мира по Канту” [4. С. 88]. Работы Флоренского оказались важны для становления историко-культурного и семиотического подхода к проблеме пространства – не случайно “Обратная перспектива” была перепечатана с парижского издания в тартуском семиотическом сборнике.

М.М. Бахтин и введенное им понятие хронотопа способствовали развитию гуманитарных исследований в направлении, синтезирующем понятия пространства и времени [5]. Позднее, наряду с дальнейшей “бахтинизацией” исследований, пространство как самостоятельная категория вновь заняло место в трудах ученых, плодотворно разрабатываясь как в отечественной, так и зарубежной науке, в том числе в славистических исследованиях. Это видно, в частности, в работах и тартуской, и московской семиотических школ, представители которых соединили изучение структуры текста с изучением структуры пространства [6; 7]. Работы В.Н. Топорова, который акцентировал различия между бытовым, научным (ньютоновским) и мифопоэтическим пониманием пространства, стимулировали изучение пространства как текста (или иначе “текста пространства”). Этот ученый также исследовал связь природного и культурного начал, их “макроконтекст”, в котором встреча духовно-физического и “великих” текстов культуры порождает духовные ситуации “высокого напряжения” [8]. Особо разрабатывалась категория границы [9; 10]. В работах Г.Д. Гачева природное пространство, отношение человека к нему предстали как фактор, существеннейшим образом влияющий на национальный склад ума, тип художественного воображения, на признаки, по которым происходит самоидентификация национальных культур³. Проблематика исследований оказалась расширена также за счет обращения к проблеме художественного творчества как части “культурного слоя”, формирующего ноосферу [11], к проблеме евразийского пространства [12]. Проблема пространства, в частности, категории движения, была затронута в этнолингвистических и фольклорных исследованиях [13]. Как пространственные явления рассматривались культурные взаимодействия. Подобная методика позволяет обнаружить скрытые связи, говорить не о влияниях и приоритетах, а выявить масштаб и направления взаимодействий, рассмотреть их как часть формирования европейского культурного пространства [14].

Выделение проблемы пространства в качестве самостоятельного объекта дает возможность не только ощутить само культурное пространство как некую материализованную и духовную реальность, восстановить первоначальную, часто забытую пространственную семантику того или иного явления, признака. Это также позволяет выявить новые стороны культурного процесса, оставшиеся вне поля зрения при других подходах, иначе взглянуть на уже известные явления.

Категория пространства неизбежно обнаруживает себя в культуре, ибо, как и категория времени, является универсальной. “Пространство ... словно схема для координации вообще всего воспринимаемого извне”, оно “есть основание всякой истины в области внешних чувств”. “Понятие пространства есть единичное представление, заключающее все в себе” [15. С. 405].

С точки зрения категории пространства, хотя бы частично, могут быть истолкованы различные историко-культурные явления и процессы. Собственно, любая пара антиномичных признаков, по которым изначально осознавался мир (напомним па-

³ Цикл книг Г.Д. Гачева “Национальные образы мира”, где разработано понятие Космо-Психо-Логос.

радикальную оппозицию “свое/чужое”), а теперь семантически исследуется культура, содержит пространственный компонент, в особенности представление о границе⁴.

Осваивая пространство, насыщая его знаками и значениями, культура осмысляет его природные признаки. С ходом времени дополнительно означиванию подвергались как природные, первичные, признаки, так и вторичные, выработанные культурой или ею переосмысленные. Тем самым расширялось представление об онтологических и практических свойствах пространства, ибо признак «не столько “принадлежит” объекту, сколько “задается” человеком», при этом “в языке культуры оказываются более значимыми вторичные, метафорические переосмысления конкретных признаков, надделение их идеологическими или мифологическими значениями” [16. С. 9, 15].

Можно говорить о мифологизации, сакрализации, стереотипизации признаков пространства, их семантизации или десемантизации в целом как о механизмах, которыми оперирует культура в своем развитии. В традиционной и народной культуре признак в принципе остается устойчивым, а набор признаков достаточно стабильным, ибо “через некий символический признак выражается определенная мифологическая идея, [а] данный признак приписывается всему, что по своему функционально-семантическому облику с этой идеей связано” [17. С. 28]. В культуре же нефольклорной, “ученой”, хотя первоначальные мифологические смыслы могут сохраняться [18. С. 424–431], постоянно происходит актуализация и забывание признаков, они меняют свои содержательные характеристики, аксиологический знак, утрачивают собственно пространственную доминанту и сакральную соотнесенность с землей и небом, все больше ориентируются на структуру не космоса, а социума, получают эстетическое наполнение, из пространственных превращаются в эстетические (как в понятиях высокой и низкой культуры или высокого и низкого жанров) (подробнее см.: [19. С. 413–414]).

Разрастаясь, признаки дополнительно означивались, географические трансформировались в культурные. Так, восток и запад начали ассоциироваться с определенным типом культуры. Пространственные признаки служили разделению сакрального и светского. Как писал П.Я. Чаадаев, “пирамидальная архитектура является чем-то священным, небесным, горизонтальная же – человеческим и земным” [20. С. 173].

Переосмысление пространственных признаков в процессе развития культуры, изменение их состава и соотношения делают возможным рассмотрение их в качестве характеристики отдельных эпох. Эти признаки свидетельствуют не только об ориентированности того или иного стиля по горизонтали или вертикали, как в случае готики или классицизма, они говорят о духовной ориентации той или иной эпохи в целом. “Работа” пространственных признаков обеспечивает функционирование смыслообразующих механизмов культуры, посредством их формируются парадигмы культурных эпох, доминантные характеристики отдельных явлений, образный мир культуры. “Что за классическое ораторское искусство без соответствующего классического пространства – без *polis*, без *res publica*”, – писал Г.-Г. Гадамер [21. С. 192].

Пространственные признаки не могут быть отделены от временных. Понятие хронотопа, которое Бахтин ввел для обозначения единства времени и пространства в структуре художественного текста, применимо и к культуре в целом, служит восприятию в ней единства пространственного и временного, между которыми может устанавливаться почти синонимическая связь [17. С. 297]. Это свойственно и национальным культурам, и индивидуальному сознанию. Как описано у Г. Гессе, – “Мы направлялись на Восток, но мы направлялись также к Средневековью” [22. С. 39].

⁴ Вероятно, не случайно в начертании бинарных признаков выступает косая черта, которая графически воспроизводит границу – один из главных элементов пространства.

Не случайно в путешествии участвуют люди искусства, они творят жизнь по законам художественного текста, в котором формирование пространства определяют особые правила. У Гессе “Страна Востока”, как он ее называет, – это не географическое и даже не геокультурное понятие, “она была отчизной и юностью души, она была везде и нигде, и все времена в ней составляли единство вневременного”. Блаженством было “играючи перемешивать внешнее и внутреннее, распоряжаться временем и пространством как кулисами” [22. С. 39].

Взаимообратимость пространственного и временного выступала в различных контекстах, например, слово “возраст” могло означать размер, рост: Богородица изображена “в меру человеческого возраста” (т.е. “в рост”) – так в конце XVII в. описывал ее скульптурное изображение Петр Толстой [23. С. 33]. Рост, размер – это также величие, чему множество примеров в древних культурах. Тем самым пространственная характеристика могла переходить в моральную, социальную, но могла и политизироваться, утратить доминанту собственно локативного содержания, подобно первоначально географическому понятию “Сибирь”. Как пространство она символизировалась, утрачивая реальные географические рамки и становясь символическим пространством страдания⁵.

В результате стирания собственно пространственной семантики часто можно не обратить внимание, что та или иная характеристика является пространственной⁶. Экстравертность или интровертность – это также пространственная характеристика культуры, говорящая об отношении к своим границам, их проницаемости, о открытости или закрытости. Эти же признаки определяют “внешнюю” и “внутреннюю” историю культуры [10. С. 3–9].

Пространственным актом является каждый случай самоопределения, самоидентификации (человека, народа) [4. С. 226; 26] – это момент осознания, фиксации культурных границ, хотя сами они определяются, как правило, не по пространственным признакам – “чужим” может оказаться и самый близкий сосед. В процессе формирования национальных культур границы – как региональные, внутренние – разрушаются, но в противоположность этому помечаются границы внешние. Особенно четки они в анклавах, существующих в инонациональной среде.

В контексте этого процесса может быть рассмотрен переход славянских культур к культуре Нового времени, который был вызван не односторонним усилием, а встречным движением культур [27. С. 24–48]. Оно свидетельствовало как о процессе консолидации национальных культур, так и об интеграционных тенденциях европейского культурного процесса в целом. Это проявилось в открытости одних культур и в способности к экспансии других, породив интенсивное движение в европейском геокультурном пространстве – в XVIII в. интерес России или Польши к Западной Европе был не менее значительным, чем Европы к этим странам, хотя эти явления и носили различный характер. Поэтому, говоря о типах национальных процессов, важно принимать во внимание и их направления, векторы, а также другие пространственные характеристики [28; 29. С. 13–35].

Образование европейского культурного макропространства прошло несколько этапов “великой интеграции”. Первая – это время римской колонизации, граница которой ощутима и в настоящее время (не только между Англией и Шотландией, где ее маркирует Адрианов вал). Римская колонизация заложила общую античную основу европейской культуры, которую актуализировал Ренессанс. Вторая значительнейшая эпоха европейской интеграции – время распространения христианства, вы-

⁵ Современная польская исследовательница, писавшая об исполнении польскими ссыльными в Вологде песен С. Монюшко, назвала свою статью “Песни Монюшко в Сибири” – ошибка казалось бы географическая, но имеющая знаковый подтекст [24].

⁶ Как отметил Р. Барт, “алиби – пространственный термин (в переводе с латинского alibi – в другом месте), который сросся с временной характеристикой [25. С. 88].

ступившего как межконтинентальное явление еще прежде, чем оно стало общеевропейским. Начиная с Ренессанса, импульсы которого в XVII в. в формах барокко распространились по всей Европе и за ее пределами, готовилась третья великая эпоха европейской интеграции, эпоха Просвещения. Об этом свидетельствовали галлизация Европы, в том числе языковая, актуализация идеи Вечного мира, понятие “комполит” как “человек мира”, рожденное Просвещением, конституирование и распространение наднационального масонства как парарелигии и параидеологии. Важнейшее значение для типологического сближения культур православного и католического ареалов имело ослабление конфессионального фактора. Произошло становление общеевропейской сети культурной коммуникации в результате распространения печатных, в том числе периодических изданий. Всю Европу (в значительной степени исключением была ее османская по государственной принадлежности часть), наполнило движение носителей разных профессиональных знаний и умений, в том числе ученых, архитекторов, художников, специалистов в различных практических областях, людей, жаждущих получить образование. Четвертая, но, возможно, не последняя – современная эпоха, с ее интеграционными процессами и глобализацией. Периоды европейской интеграции чередовались с противоположным по знаку движением. Так, за христианизацией последовал раскол церквей, а затем Реформация; за эпохой Просвещения наступила националистическая эпоха романтизма. Современная эпоха означена сепаратизмом.

В культурном пространстве формируются локусы, которые служат точками сгущения культурной энергии, пространством бытования различных искусств, определяют векторы культурной ориентации. Ими могут быть города, различного рода культурные институты, как в свое время монастыри, позднее университеты или музеи, но также целые государства, культурные и политические конгломераты, природные ареалы любого масштаба. Это также вписанное в определенный природный и урбанистический контекст городское урочище. На пограничье природы и культуры располагаются сад, а также вилла, со времен Плиния образуя особый вид сельского урочища, служащего местом наслаждения и интеллектуальных занятий – античную традицию продолжил Ренессанс [30]. Эталонный дворцово-парковый ансамбль как особый локус формирует эпоха барокко (Версаль). В XVIII в. в качестве такового появляется английский парк, который особым образом располагался в пространстве, но мог существовать как независимое от жилища самостоятельное целое (Стоухед, Зофьювка), а также органично объединившая их усадьба, функции которой принял более демократичный коттедж, в его английском, варианте, а не норвежском, являющемся признаком социальной элитаризации.

Локусы, излучающие культурную энергию, по функции могут перемещаться внутри национального и межнационального культурного пространства, как в историко-культурной реальности, так и в идее. Примеры – переход в Новое время роли ведущего европейского художественного центра от Рима к Парижу или так называемый “перенос империй” (*translatio imperii*). Вопреки исторической ситуации, подобная идея жила в Польше середины XVIII в. Это нашло, в частности, отражение в символике изображений, окружающих портрет Станислава Августа в торуньской ратуше⁷. Здесь, правда, имелась в виду другая цепочка царств, чем в русском варианте (Москва – Третий Рим), более близкая воинственной сарматской традиции. Эту цепочку составляли вавилонская, греко-македонская, персидская и римская империи.

Перемещаться в культурном пространстве могут не только империи, но и путешественники, в том числе “праздные” и “пытливые”, по классификации Лоуренса Стерна [32. С. 550]. Однако любые из них выступают “переносчиками” национальной ментальности и стереотипов, а также их создателями. Путешественник – актив-

⁷ Это выпадает из в целом пацифистской иконографии этого короля (представлен как *Rex armatus*) (см.: [31]).

ный участник жизни культурного пространства, творец его поля напряжения и векторов. В этом пространстве перемещаются также сюжеты (за что и получили название бродячих). Они переносятся не только из текста в текст, но и совершают “перебежки из одной культуры в другую” (образ К. Вагинова [33. С. 505]), тем самым выходя за пределы собственно художественного текста и попадая в пространство его функционирования.

Рассматривая проблему “пространство и культура”, можно увидеть, что понятие “культурное пространство” может быть понято как пространство *концептуальное*, творимое в “сильных” (понятие В.Н. Топорова) текстах культуры, в том числе художественных, и пространство *бытования культуры*, в котором совершается его концептуализация. Это второе также может быть рассмотрено как текст культуры, несущий о ней информацию, но текст иного рода.

В одном случае – это пространство помысленное и претворенное в образе, так или иначе материализуемое – вербально или вещно, как, например, в архитектуре и прикладном искусстве. Это пространство свидетельствует о том, как культура “работает” с категорией пространства, которая выступает смыслообразующей константой. Другая же ипостась пространства предстает как та среда, в которой, координируясь, существуют и развиваются культурные явления (она, впрочем, не всегда явная – культурное пространство, подобно сакральному, может иметь свой “подземный” мир, андеграунд).

Вместилищем пространства культуры является сам человек как его творец и обитатель, как творческая личность и как рецептор, “поглотитель” плодов культуры (плоды при этом не изымаются из культурного пространства и не убывают, а разрастаются).

Культура свободно обращается с категорией пространства в каждую эпоху по своему. Его изменяющаяся семантика, степень “заинтересованности” данной проблемой служат выражением внутреннего строя и “индивидуальности” (выражение А.В. Михайлова) культуры, что проявляется на различных уровнях (эпоха, народ, мастер).

Культурное пространство – это пространство концептуальное, антропологизированное. Приобретая многие свойства творящей его человеческой мысли, оно получает благодаря этому особые имманентные свойства, кажущиеся парадоксальными обыденному сознанию. К их числу принадлежит способность культурного пространства субъективизироваться, трансформироваться, претерпевая различные метаморфозы, и бесконечно расширяться в результате каждого культурного акта.

У обитателей этого пространства есть своя география и “прописка”. “Интеллигентный человек духовно живет не в одной стране, а во многих странах, не в одной эпохе, а во многих”, – писал К. Вагинов, писатель чрезвычайно чуткий к проблемам пространства и времени, близкий к Бахтину. О своем герое, потрясенном послереволюционными событиями, он писал, что тот чувствовал, что “бежит все глубже и глубже в старый двухтысячелетний круг. Он пробегает последний век гуманизма и дилетантизма, век пасторалей и Трианона, век философии и критицизма и по итальянским садам, среди фейерверков и сладостных латино-итальянских панегириков, вбегает во дворец Лоренцо Великолепного” [33. С. 505]. Это еще один пример того, как могут срастись время и пространство, а движение – быть обращено вспять. Это пространство может представлять собою особого рода лабиринт, “который охватывал бы прошедшее, настоящее и грядущее и каким-то чудом вмещал всю Вселенную” [34. С. 155].

Мифопоэтическая традиция, художественное творчество наполняют пространство, даже пустое, множественностью порой противоречивых значений. Это касается пространства как собственно культурного, так и природного. Человек постоянно втягивал его в поле своей деятельности. В одних случаях природа, выступая лишь в роли вдохновителя, сохраняла собственное пространство, в других – природное пространство переставало быть таковым.

Чтобы природное пространство оказалось втянуто в поле культуры, не обязательно его культивировать и огораживать, превращая в сад. Каждое осмысляемое пространство, даже пустое, семиотично⁸, что относится как к собственно культурному, так и к природному пространству. Если оно неким образом осознается, то в него вносятся содержательное начало.

Достаточно, чтобы там поселился *genius loci* как дух этого места⁹ или чтобы оно было осознано как связанное с каким-либо значительным событием, выдающейся личностью, запало в историческую память (обращает внимание пространственность образа “запасть в память” – пространственные образы, как и признаки, густо заполняют язык культуры). При этом семантика самого исторического места может быть интенсивнее, чем мемориала, маркирующего его и не всегда способного стать истинным знаком, соответствовать значимости данного пространства.

Пространство бытия культуры в своих границах и свойствах не совпадает с другими типами пространства – географическим, политическим, национальным, социальным. Оно также не является лишь ментальным или только перцептивным, т.е. чувственно воспринимаемым, или тем, что часто называется реальным, которое может пониматься совершенно различно. Как писал М. Элиаде, – “для религиозного человека [священное пространство] только и является реальным. Все остальное – бесформенное пространство” [37. С. 22].

Пространство бытия культуры нельзя отождествить ни с окружающим, ни с вещным пространством, уподобить пространству виртуальному, не данному в конкретном ощущении, не предметному. Виртуальный мир – это состояние сознания. Виртуальная реальность возникает здесь и сейчас. (Понятие “виртуальный”, пришедшее в языки мира с возникновением компьютерных технологий, происходит от латинского *virtus* — способность, *virtualis* – возможный) [38. С. 404; 39]. Хотя культурное пространство имеет определенные корреляции со всеми другими типами. Это пространство может быть внутренним, когда человек оперирует артефактами, хранит их в памяти, но, не перестав быть внутренним, оно может соединиться с внешним. “Часто именно безграничность внутреннего мира придает истинное значение некоторым проявлениям того мира, который развертывается перед нашим взором” [40. Р. 169].

Культурное пространство легче описать *апофатически*, с точки зрения того, чем оно не является, нежели определить его собственное целое, если только не описать его как пространство, всегда отмеченное присутствием человека, который находится внутри него и одновременно его творит – концептуально и вещно.

Концептуализируемое пространство и пространство бытования культуры вступают в особые отношения в художественных текстах. Один из героев К. Вагинова говорил: “Иногда мне хочется уехать в Италию, не в политическую Италию и не в географическую, а в некую умопостигаемую Италию, под ясное не физическое небо и под чудное, одновременно физическое и нефизическое солнце”. Другому герою романа “мучительно было слышать” эти слова. Ведь то, что называл Италией его приятель, писатель, “была его страна сновидений” [33. С. 461].

Обе Италии – и под физическим солнцем, и умопостигаемая – являются культурным пространством. В одном случае – это Италия с ее необычайно насыщенным па-

⁸ Не случайно понятие “пустыня” уже в Библии получило многозначность. Земля до начала творения оставалась “безвидна и пуста” (Быт 1:2), “из пустыни, земли страшной” исходит “грозное видение” (Ис 21:1). У Мильтона рай отрезан “пустыней бездны” (“Потерянный рай”. М., 1982. С. 132). Но пустыня – это и место искупления, совершенствования (40 лет пребывания еврейского народа в пустыне после бегства из Египта) – отсюда мотив пустытника, пустыни. Но для Аввакума “пустые” места – это места ссылки. Пустота выступает и как эстетический признак. В ампире есть “та самая любовь к пустоте, которая вновь появляется и в модерне после долгого периода боязни пустоты в годы эклектики” [35. С. 46]. В XX в. принцип “пустого места” становится одним из элементов поэтики (см.: [36. С. 97–101]).

⁹ Именно дух, а не олицетворение (см.: [8. С. 44]).

мятников архитектуры и искусства культурным ландшафтом, но также и с ландшафтом природным, который словно предназначен служить средой развития культуры (например, Этрурия, расположенная естественным амфитеатром в сторону моря) [41. С. 170]. Италия в целом представляет некий садоподобный пейзаж, послуживший прообразом английского пейзажного парка.

Пространство бытования культуры может выступить непосредственным предметом описания в художественном тексте, которое, не теряя конкретности, конденсирует образ бытийного мира действующих лиц: герою Вагинова "...стало жаль дворян, разрушенных усадеб, коров с кличками Ариадна, Диана... Амальхен, Гретхен, многочисленных родственниц и приживалок, вечно зябнущих в серых, коричневых или черных платках, самоваров, варений, альбомов, пасьянсов, раскладываемых дрожащею рукою" [33]. Здесь и традиции усадьбы, коровы которой происходят из английского парка, и социокультурная проблема смены поколений, ухода дворянства с исторической сцены, и семантика костюма, и формы быта с пасьянсом, вареньем и чаем.

Существуя как мысленный образ, в том числе художественный, пространство бытования культуры имеет, однако, свои реальные измерения, хотя они не носят абсолютный характер, а само пространство не имеет четко очерченных границ. Это, например, территория распространения национального языка или диалекта. В описываемом пространстве объективизированы и географически определены взаимоотношения центра и периферии, направления информационных потоков. Здесь сосуществуют разного типа культуры, так или иначе деля его между собой, образуя переходные зоны – народная и профессиональная, классическая и поп культура и т.п. В этом пространстве вырабатываются механизмы и структурные элементы, обеспечивающие условия для воспроизводства культуры.

У славянских народов в связи с особенностями национального и политического развития понятие пространства, которое в реальном времени часто насильственно меняло свои границы, выступало особо значимой частью индивидуального и массового сознания. Поэтому освещение славянских культур с точки зрения категории пространства позволяет, в частности, более четко предвидеть традиции, к которым восходят некоторые современные, в особенности политические, проблемы.

Отношение к национальному пространству окрашивало не только картину мира, но и менталитет, обостряло оппозицию свой/чужой. Если для французов национальное пространство – это "douce France", как они до сих пор любят нежно называть свою страну, а для англичанина, культивирующего традиции, – это "old England", то для поляка национальное пространство – Польша, которая в свое время была стерта с политической карты, но "nie zginęła róki my żyjemy". Тем самым образ своей земли, потерявшей независимость, у поляков, как и других славянских народов, которые были лишены независимости в тот или иной период своего существования, оказался перенесен в пространство исторической памяти, откуда его было невозможно изъять никаким оружием. Хранителем этого образа стало и пространство литературных текстов, которое могло выступить компенсатором стертого политического пространства, воспроизводя в художественных образах пространство национальное, историческое, как в полотнах Я. Матейко или гравюрах А. Олещиньского [14. С. 274].

Поляки никогда не считали Петербург своей столицей, хотя официально он выступал ею в течение века. Для них таковой оставалась Варшава, которая, в свою очередь, всегда воспринималась русскими как заграница, хотя сто лет была в составе России [42. С. 85–99]. Не изменило ситуации и то, что со второй половины XIX в. в Варшаве появились православные церкви русско-византийского стиля, частично изменив ее облик [43]. В пространственном образе была осмыслена мессианская роль Польши как "przedmurza" христианства (дословно "предстеня") христианства, ибо врага до самой стены нельзя допустить, стена сакрализована, в Hortus conclusus, "саду заключенном", она охраняет патронессу Польши Деву Марию.

Культура обращается с пространством подобно тому, как борхесовский создатель сада относился ко времени, не веря “в единое абсолютное время. Он верил в бесчисленность временных рядов, в растущую, головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен” [31. С. 160]. Так и культура творит головокружительное множество пространств, сходящихся и расходящихся или параллельных, которые предстают как текст, несущий информацию о себе и мире.

Этот текст, комплексный по своей природе, открыт изучению как для историков культуры, так и собственно историков, а также исследователей, занимающихся отдельными областями художественного творчества. Опыт подобного изучения был осуществлен в ходе реализации проекта “Культурное пространство. Славянский мир”, что нашло отражение на “круглом столе” “Пространство как код культурных эпох” (2001), конференции “Пространство в культуре. Культура в пространстве” (июнь 2002)¹⁰, а также в книге, подготовленной к печати на основании проведенной работы.

Изучение проблемы пространства может быть продолжено и объединено с различными исследовательскими направлениями, которые касаются истории и культуры славянских народов. Один из аспектов может быть связан с изучением природного ландшафта как объекта и текста культуры, как одного из ее порождающих начал. Это позволит проследить, как природный ландшафт маркирует ментальность славянских народов, инспирирует картину мира, присущую тому или иному народу, той или иной эпохе, как символизируясь, он преобразуется в мифологическом, религиозном, фольклорном, историческом, национальном, эстетическом сознании, воплощается в художественных образах. Предметом внимания может выступить также ландшафт самой культуры, культурный ландшафт, в рельефе, ритмах, протяженности и локусах которого запечатлеваются следы культурных процессов с их вершинами и впадинами, разного рода потоками и течениями, что может быть интерпретировано не только метафорически. Это позволит четче прорисовать и идентифицировать черты “портрета” и “автопортрета” отдельных национальных культур, а также судить об их включенности в европейский культурный процесс соответствующей эпохи.

Проблема может быть поставлена и иначе: “пространство и история”, “историческое пространство славянского мира”, что включает рассмотрение вопроса о соотношении пространства национального и пространства политического, их центре и периферии, взаимодействии в них внутреннего и внешнего, своего и чужого, что актуально не только в научном плане. Структуру этого пространства формируют исторически изменяющиеся границы – национальные и ареальные, этнические и конфессиональные, социальные и политические; эта структура складывается в результате распространения потоков культурной информации и коммуникации, с присущими им векторами, а также вследствие движения самих носителей эстетической, научной и другой информации, в том числе за пределы гомогенного национального пространства (эмиграция). Предметом внимания могут стать корреляции между геополитическим и социокультурным пространством.

Во всех случаях изучение явлений с точки зрения категории пространства представляется эвристичным. Оно приближает к раскрытию вопросов, как славянские народы творят свое историческое и культурное пространство, как они трансформируются в историческом процессе, в свою очередь влияя на его ход.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Человек в контексте культуры / Отв. ред. И.И. Свирида. М., 1995; *Натура и культура* / Отв. ред. И.И. Свирида. М., 1997; *Культура и история*. М., 1997.
2. *Славяноведение*. 2001. № 6.

¹⁰ См. информацию в этом номере журнала “Славяноведение”.

3. Лескинен М.В. Конференция “Оппозиция сакральное/светское в славянской культуре” // Славяноведение. 2002. № 5.
4. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
6. Семиотика пространства – пространство семиотики // Ученые труды Тартуского университета. Тарту 1986; *Топоров В.Н.* Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983; *Топоров В.Н.* Проблемы культурного пограничья. Функция границы и образ “соседа” в становлении этнического самосознания (русско-балтийская перспектива) // Советское славяноведение. 1991. № 1; *Топоров В.Н.* О мифопоэтическом пространстве. Генцова, 1994; *Топоров В.Н.* “Гео-этнические” панорамы в аспекте связей истории и культуры // Культура и история. М., 1997; *Цивьян Т.В.* Интерьер космоса в интерьере дома // Натура и культура. М., 1997; *Николаева Т.М.* Человек и город // Человек в контексте культуры. М., 1995; *Николаева Т.М.* Три пространства Игоревы похода: художественное, летописное и “реальное” // Slavica tergestina. 8. Художественный текст и его геокультурные стратификации. Trieste, 2000; *Николаева Т.М.* Единицы языка и теория текста // Исследования по структуре текста. М., 1987.
7. *Цивьян Т.В.* Движение и путь в Балканской модели мира. Исследования по структуре текста. М., 1999.
8. *Топоров В.Н.* Эней – человек судьбы. М., 2000.
9. Проблемы культурного пограничья (“круглый стол”) // Славяноведение. 1991. № 1; *Софронова Л.А.* Три мира Григория Сковороды. М., 2002; *Злыднева Н.В.* Художественная традиция в пространстве балканской культуры. М., 1991.
10. *Софронова Л.А.* Старинный украинский театр; М., 1996.
11. Ноосфера и художественное творчество / Отв. ред. В.В. Иванов. М., 1991.
12. Евразийское пространство. Слово и звук. Международная конференция. Тезисы и материалы. М., 2000.
13. Концепт движения в языке и культуре. М., 1966 / Отв. ред. С.М. Толстая; Логический анализ языка. Языки динамического мира. Дубна, 1999.
14. *Свирида И.И.* Между Петербургом, Варшавой и Вильно. Художник в культурном пространстве. М., 1999.
15. *Кант И.* О форме и принципах чувственно воспринимаемого мира и умопостигаемого мира // Сочинения. М., 1965. Т. 2.
16. *Толстая С.М.* Категория признака в символическом языке культуры // Признаковое пространство культуры. М., 2002.
17. *Неклюдов С.Ю.* Вещественные объекты и их свойства в фольклорной картине мира // Признаковое пространство культуры. М., 2002.
18. *Злыднева Н.В.* Белый цвет в русской культуре XX в. // Признаковое пространство культуры. М., 2002.
19. *Свирида И.И.* Признак в “ученой” культуре: *естественность* в топосе сада // Признаковое пространство культуры. М., 2002.
20. *Чаадаев П.Я.* Сочинения и письма. М., 1914. Т. 2.
21. *Гадамер Г.-Г.* Актуальность прекрасного. М., 1991.
22. *Гессе Г.* Путешествие на Восток // Избранное. М., 1991.
23. Путешествие стольника П.А. Толстого по Европе. М., 1992.
24. *Obara-Jędrzechowska B.* Pieśni Moniuszki na Syberii // Muzyka. 1987. № 4.
25. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
26. Автопортрет славянина. М., 1999.
27. *Никольский С.В.* Проблема избирательности интересов в процессе литературных связей и творческих взаимодействий литератур // Славянские литературы. VIII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1978.
28. *Свирида И.И.* Две тенденции в европейской культуре Нового времени и славянские народы // Славянские народы и мировой культурный процесс. Минск, 1985.
29. *Свирида И.И.* Типы и направления национальных культурных процессов в Центрально- и Юго-Восточной Европе // Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы. XVIII–XIX вв. Типология и взаимодействия / Отв. ред. И.И.Свирида. М., 1990.
30. *Chastel A.* Marsile Ficin et l’art. Genève, 1975.
31. *Pokora J.* Obraz najjaśniejszego Pana Stanisława Augusta. Warszawa, 1993.
32. *Стерн Л.* Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Сентиментальное путешествие. М., 1968.

33. Вагинов К. Козлиная песня. Романы. М., 1991.
34. Борхес Х.Л. Ex libris. СПб., 1992.
35. Сарабьянов Д.В. Стилъ модерн. М., 1989.
36. Злыднева Н.В. "Пустое место" у Дж. де Кирико и Д. Хармса // Италия и славянский мир. М., 1990.
37. Элиаде М. Священное и мирское М., 1994.
38. Рузавин Г.И. Виртуальность // Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 1.
39. Носов Н.А. Психологические виртуальные реальности. М., 1994; Носов Н.А. Виртуальный человек. М., 1997.
40. Bachelard G. La poetique de l'espace. Paris, 1957.
41. Мавлеев Е.В. Антропогенный ландшафт Этрурии: природа в контексте древней цивилизации // Ноосфера и художественное творчество. М., 1991.
42. Варшава глазами русских. Конец XVII–начало XX вв. // Россия–Польша. Образы и стереотипы в литературе и культуре / Отв. ред. В.А. Хорев. М., 2002.
43. Paszkiewicz P. Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie. 1815–1915; Paszkiewicz P. W służbie Imperium Rosyjskiego. 1721–1917. Warszawa, 1999.



© 2003 г. О. А. КУРБАТОВ

“ЛИТОВСКИЙ ПОХОД 1655 ГОДА” КНЯЗЯ И.А. ХОВАНСКОГО И БИТВА ПРИ ПОЛОНКЕ

В отечественной историографии степень изученности второго этапа (1655–1667) войны России и Речи Посполитой (1655–1667), в особенности хода военных действий, чрезвычайно мала: достаточно сказать, что наиболее подробным его описанием до сих пор остаются главы “Истории России с древнейших времен” С.М. Соловьева. Однако в указанном труде изложению военной канвы событий уделяется меньше внимания, чем дипломатической стороне вопроса; первое в смысловом плане и композиционно подчинено второму. В итоге, оценки походов весьма невняты: в частности, ничего не сказано о целях и характере Литовского похода Новгородского полка 1655–1660 гг., о его силах, о замыслах командования и тому подобное, даже краткое описание содержит ошибки и вовсе не упоминает такой важный эпизод, как осада Ляховичей. Позднейшие работы содержат лишь несущественные дополнения к изложенной историком канве событий [1. С. 508–517; 2. С. 118–125]. При этом характеристика русского полководца кн. И.А. Хованского, данная Соловьевым полтора века назад, без сомнений продолжает приниматься рядом современных исследователей [3. С. 69, 70; 4. С. 173–175]. Между тем, достаточно взглянуть на круг источников, которыми располагал великий историк, на подчиненность их использования пристрастной авторской концепции, чтобы понять всю важность нового исследования с привлечением более широкого круга материалов.

Походы 1655–1659 гг. предали под “высокую царскую руку” обширные территории Великого княжества Литовского (ВКЛ), однако для значительной части шляхты и мещан подчинение царской власти стало вынужденной мерой ради сохранения жизни и имущества. Выступление против русских гетмана И. Выговского на Украине и казачьего полковника И. Нечая в Белоруссии в сентябре 1658 г., поддержанное великим гетманом Литовским П. Сапегой, вызвало почти поголовное восстание “присяжной шляхты”. Первые успехи были облегчены слабостью русских войск на этой разоренной и враждебной территории, где с трудом могли прокормиться лишь гарнизоны крупных городов. Только к концу 1659 г. войска кн. А.Н. Трубецкого и В.Б. Шереметева ликвидировали “измену” в Малороссии, а спешно созданный полк кн. И.И. Лобанова-Ростовского вновь покорил царской власти восточную часть Белой России (до р. Березины). Между тем, переговоры о мире с польской стороной все время заходили в тупик. Поляки намеренно затягивали их, стремясь лишь выиграть время для завершения войны со Швецией, после чего обратиться уже против “москалей”. В октябре 1659 г. Алексей Михайлович, наконец, посчитал возможным прямо объявить о возобновлении войны с Речью Посполитой. Непосредственным

поводом послужила неудача “переговоров Ивана Желябовского” о назначении нового “съезда послов”, к чему король и сенаторы “доброхотства [ни]какова не показали и отпустили его, Ивана, безде[льно]” [5. Ф. 210. Оп. 12. Д. 418. Л. 358]. Ответ на подобное “бесчестье царскому имени” был жесткий: “И прося у Бога милости, велели мы, великий государь, нашим царского величества боярам и воеводам и ратным людям, за его королевские неправды, итти на него войною”, – говорилось в грамоте к полоцкой шляхте [6. С. 503 – 505]. Здесь же сообщалось, что “в Вильну ... послан боярин наш и воеводы князь Иван Андреевич Хованский со товарищи, с нашими царского величества ратными людьми, и за Божьею помощью над польскими людьми велено им чинить промысл”. По наказу он должен был известить все же назначенных к тому времени польских комиссаров, что “миру война не помешка”, т. е., что его поход не нарушит неприкосновенности посольских чинов [7. Т. 3. С. 47].

Уже третий год под началом этого воеводы находились войска Новгородского разряда – одного из военно-административных округов Русского государства. Ведущая роль в нем принадлежала поместной коннице Новгородского, Псковского, Великолуцкого, Торопецкого, Новоторжского, Тверского и Старицкого уездов, составлявших до 3200 дворян и детей боярских. Их дополняли конные казаки этих земель – около 1000 человек.

Большая часть помещиков после Смутного времени не могла нести службу без поддержки государства. Новая долгая война, начавшаяся в 1654 г., нанесла очередной удар по их благосостоянию: крестьяне разбежались от налогов и повинностей или их забирали в солдаты, а у иных поместья были разорены “от немецких людей”. Многие новики, даже поверстанные земельным окладом, в реальности земли не получили. В результате, к концу 1650-х годов значительная часть служилых людей “по отечеству” являлась “беспоместными” и “пустопоместными” [8. С. 68, 69, 82, 102; 5. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 64. Л.л. 2, 3 и сл.]. Для таких война становилась главным источником существования.

К 1659 г. ратные люди Новгородского разряда прошли долгий боевой путь. Поверстанные после Смоленской войны 1632–1634 гг. “новики” получили боевое крещение только при осаде восставшего Пскова в 1650 г., а большинство – в 1654–1656 гг. Особое внимание царя привлек их поход на Брест (осень 1655 г.), который первоначально был призван мирно “привести к кресту” шляхту юго-западных поветов ВКЛ. Сапега пообещал царскому посланнику Ф.М. Ртищеву переход своего войска под государеву руку, однако вскоре под давлением шляхты изменил решение и внезапно атаковал Новгородский полк боярина кн. С.А. Урусова во время переговоров под Брестом. Дважды сбитые с позиций, ратные люди чудом отбились и даже разгромили превосходящие силы противника в лесах у д. Верховичи – по сообщениям пленных, при начале боя над русским лагерем показался архангел Михаил, что вызвало особый интерес Алексея Михайловича [9. С. 129–130]. Их следующий поход (1656 г.) завершился взятием у шведов Юрьева Ливонского. Но всю былую славу полка в одно мгновение похоронил вопиющий случай под Валками (9 июня 1657 г.), где дворяне побежали с поля боя “дуростью своею, а не от побою”, и бросили в плену смертельно раненого воеводу М.В. Шереметева. Царь наложил опалу на ратных людей и начал следствие о “зачинщиках” бегства [10. С. 180].

Однако вскоре их новый воевода, стольник кн. И.А. Хованский, сумел переломить ход войны. Ему удалось разгромить главные силы противника в Прибалтике (16 сентября 1657 г. под Гдовом), затем разорить Эстляндию, осадить Нарву и сделать, таким образом, шведов более сговорчивыми на начавшихся “посольских съездах” [11. С. 39–53]. На радостях от побед царь поспешил простить новгородцев. Новую славу им принес молниеносный январский поход 1659 г. за Западную Двину, когда Хованский едва с 2 тыс. всадников буквально разогнал под Мядзелями второе превосходящие силы литовцев и белорусской шляхты (29 января 1659 г.) [12. С. 272; 5. Ф. 210. Оп. 12. Д. 488]. После роспуска ратных людей по домам князь был пожалован в бояре и получил титул “наместника Вятского”.

Бои со шведами выявили низкую эффективность старой тактики конницы, и в ходе разборов весны 1659 г. большая часть дворян и казаков – те, кто нуждался в материальной поддержке – была записана в рейтары. Они образовали три полка (2800 человек) во главе с полковниками-иноземцами и опытными офицерами из дворян, которые обучили рейтар действиям в линейном строю и залповой стрельбе. Лучшие обеспеченные кавалеристы перед походом по-прежнему составили конницу “сотенной службы”. Элиту полка представляли “завоевочки” боярина – “для чести своей и оберегания царского знамени” – и “есаулы”-ординарцы, а также Выборная и Подъезжая (для разведки) сотни. Остальные были расписаны в девять городских дворянских и пять казачьих сотен.

Стрельцы четырех новгородских и псковских приказов, выступившие в поход 1659–1660 гг., были, благодаря своим сословным традициям, самыми надежными из пеших ратников. Однако на поле боя эффективнее их в последнее время оказывались части “солдатского” и “драгунского строя”. Те были очень разнообразны по составу и численности. Поселенными солдатами Заонежских погостов комплектовался полк А. Гамильтона, а лучшие из них, снабженные лошадьми, составляли драгунский полк А. Форота. Сомерская волость выставляла небольшой полк Е. Росформа. Наконец, из даточных “сбора 167 года” (1658–1659), с 10 крестьянских и бобыльских дворов по человеку (с территории Новгородского разряда), незадолго до того был сформирован полк И. Гулица [7. Т. 3. С. 118, 493, 494; 13. С. 382–391]. Все они получали “корм” по норме “старых солдат” – по восемь денег человеку на день [5. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 60], однако степень разорения их семей и морального упадка была столь велика, что многие, взяв жалованье, бежали еще по дороге в полк [5. Ф. 210. Оп. 9. Д. 317. Л. 387, 388]: долгая война и здесь брала свое. Солдатские полки имели при себе обоз с шанцевым инструментом. “Наряд у разрядного шатра” (полевая артиллерия) и полковые пушки пехоты в общей сложности насчитывали 12 или 15 орудий. Начальными людьми у солдат и драгун в большинстве своем были служилые иноземцы [14. S. 222; 15. S. 212].

В августе 1659 г. части Новгородского разряда сосредоточились в Полоцке, прикрывая тылы войск Лобанова-Ростовского, которые осаждали И. Нечая в Старом Быхове [5. Ф. 210. Оп. 12. Д. 418. Л. 87, 88, 297]. Здесь под начало Хованского поступила многочисленная “присяжная шляхта” Полоцкого повета. Большая ее часть перешла на царскую службу добровольно уже в 1654 г., а иные, отступив с гетманом Радзивиллом на запад, вернулись домой зимой 1655–1656 г. Их полки приняли активное участие в Рижском походе 1656 г. и других боях со шведами [5. Ф. 210. Оп. 11. Д. 162. Л. 107–109, 156, 157; 7. Т. 2. С. 542]. Выступление Нечая разделило шляхту: так, при Лепеле в ноябре 1658 г. “полоцкая верная шляхта” полковников И. Кисаревского, Г. Гаславского и полоцкого бурмистра К. Наумова “побила” “изменников” – Полоцкого же воеводства полковников К. Лисовского, Ф. Слонского и Б. Пресецкого [5. Ф. 210. Оп. 11. Д. 209. Л. 511, 512]. Победы Хованского и Лобанова-Ростовского вскоре вернули большую ее часть в царское подданство.

В поход 1659–1660 гг. выступили следующие полки: И.И. Кисаревского – три хорунги, около 150 человек; Г. Гаславского – одна хорунга, 133 шляхтича и около 200 челядников; Ф. Слонского – четыре или пять рот шляхты, около 200 шляхтичей и более 300 челяди; одна драгунская рота, 83 человека. Итого – до 1100 человек [5. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 64. Л. 215–263; Ф. 210. Оп. 11. Д. 162. Л. 107–109]. Правда, часть из них догнала войска Хованского только зимой.

Все войско делилось между самим боярином и его товарищем – стольником кн. С.Л. Шербатовым, образуя два “воеводских полка”. Общая его численность достигала 9 тыс. человек, в том числе: около 1300 в сотнях, 2800 рейтар, более 1000 полоцкой шляхты, до 1500 стрельцов (часть осталась в Пскове и Новгороде), более 100 начальных людей пехоты и 2338 солдат и драгун [5. Ф. 210. Оп. 9. Д. 317. Л. 388].

Момент для похода командование выбрало самый удачный. Литовские войска, летом стоявшие в западных областях Белоруссии в ожидании удара русских, осенью

были извещены о новом “съезде послов” и втянулись в борьбу за оставшиеся у шведов крепости в Курляндии [16. S. 23; 5. Ф. 210. Оп. 12. Д. 432. Л. 6]. Хованский же фактически выступал как союзник Швеции – это подкреплялось распоряжениями о дружественном отношении к шведам, освобожденным из польского плена [5. Ф. 27. Оп. 1. Д. 176. Л. 90].

Войска выступили в поход до 19 октября 1659 г., когда состоялся обычный для его начала смотр, и 9 ноября достигли Вильно [5. Ф. 210. Оп. 12. Д. 432. Л. 69; 15. S. 212]. При отсутствии воеводского наказа можно только предположить, что основной их целью был возврат поветов Юго-Запада ВКЛ. Здесь осенью 1655 г. шляхта была “приведена к кресту” во время похода Новгородского полка [17], но с захватом литовцами в конце 1658–1659 гг. Гродно, Новогрудка и Минска фактически “отложилась” от царской власти. Виленская шляхта прямо отказала воеводе кн. Д.Е. Мыщецкому воевать против “своей братьи” литовского войска и поставлять запасы в Вильну или в полки Хованского [5. Ф. 210. Оп. 12. Д. 418. Л. 533].

Из Вильны боярин стремительно, по своему обычаю, бросил полки в направлении г. Лиды. Западнее города, на переправе через р. Дитву у с. Мыто, укрепился в острожке во главе местной шляхты полковник Я. Кунцевич. Однако, Хованский “посмеялся над ними”: разузнав о бродах, он в ночь на 17 ноября 1659 г. переправился через реку в другом месте и вышел на литовцев с тыла. Шляхта, узнав об этом, “больше не сопротивлялась”; земляной городок был взят, и лишь две хорунги (надворная гайдуцкая Сапеги и драгунская), потеряв 22 человека только пленными, смогли прорваться за Неман [12. S. 272; 5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87. Л. 10 об.; Оп. 17. Д. 73. Л. 120]. Датированный тем же числом универсал П. Сапеги к шляхте лишь предостерегал о возможности похода Хованского – столь неожиданно и стремительно он начался [18. С. 137, 138]. Внезапность нападения не позволила и вовремя усилить гарнизон Гродно, комендант которого, капитан М. Гутовский, капитулировал почти без сопротивления 8 декабря [12. S. 273; 18. С. 523].

Следующей целью Хованского стало лежачее на юге Подляшье. Здесь, в глубоком тылу действовавшей в Курляндии армии, собралось на зимних квартирах – “лежах” – шляхетское “товарищество”, до 800 человек, сюда же от ужасов войны скрылись многие знатные семьи из-под Гродно. Оставив в городской крепости воеводу Т.О. Челищева с сотней стрелцов и ротой солдат [5. Ф. 210. Оп. 12. Д. 418. Л. 578, 688], Хованский выступил все так же стремительно и скрытно – в канун католического Рождества. Для ускорения марша с дворян были взяты их запасные лошади “под стрелцов и под салдат вместо подвод” [5. Ф. 210. Оп. 11. Д. 125. Л. 85]. В ночь на воскресенье (18 декабря) боярин, “выйдя из Одельска, на рассвете ударил на Крынки”, где разгромил полк кн. Я. Огинского: были взяты в плен 26 шляхтичей из панцирной хорунги П. Сапеги и по несколько “языков” из трех татарских и драгунской хорунг этого полка [5. Ф. 210. Оп. 17. Л. 122–125]. “На плечах” бегущих дворяне и казаки ворвались в Заблудов, куда съехалась на мессу окрестная шляхта, и захватили множество знатных пленных и богатую добычу [12. S. 273; 14. S. 221; 15. S. 217]. Еще не успели главные силы войти в город, а во все стороны от него устремились “загонные” отряды, достигавшие даже границ Пруссии. Плена едва избежали гетман П. Сапега, его брат Кшиштоф (крайчий Литовский) и З. Слушка – хорунжий Литовский; в огромной опасности находилась войсковая казна, добиравшаяся до Варшавы через Брест, Люблин и Замостье несколько месяцев [18. С. 534]. Шляхта, не думая о “посполитом рушении”, спасалась с семьями и имуществом в последние надежные крепости – Слуцк, Ляховичи и Несвиж.

Новгородцы снова двигались по землям, из которых им едва удалось вернуться осенью 1655 г. Тогда им “за смертной казнью” запрещалось грабить и “собирать корм”, чтобы это не помешало склонить местную шляхту к присяге царю [19. С. 63–65]. Характер нынешнего похода был уже карательным – огнем и мечом “воевать” поветы, изменившие своему крестному целованию. По сведениям Б. Радзивилла, “хлопам Москва полностью дает волю, только велит, чтобы наводили их ”на боя-

ры”, но шляхту вяжет и дворы палит” [14. S. 221]. Пощады не давали никому: так, московские “чаты” в дороге изрубили послов Волковысского повета, отправленных к Хованскому с изъявлением покорности [12. S. 277]. От русских не отставали и белорусские шляхтичи: 10 января 1660 г. ксендз Томаш Гирский, тайно посланный виленским воеводой в Варшаву на разведку, был ограблен, избит и прислан в оковах в Вильню полковником Кисаревским, “которой идет ис Полоцка к ... Хованскому с ротами своими” [5. Ф. 210. Оп. 12. Д. 418. Л. 604, 605]. Русская конница двигалась на юг широчайшим фронтом: так, почти одновременно разорению подверглись г. Янув за Бугом и г. Шерешево, 80-ю верстами северо-восточнее [15. S. 219; 20. С. 89]. Неудивительно, что очень скоро молва раздула силы Хованского с реальных 10 тыс. до фантастических 30–40 тыс. человек [15. S. 213; 12. S. 286].

Опустошив г. Каменец, русские полки в ночь на 29 декабря подошли по льду Западного Буга и “изгоном” взяли “большой город” Бреста [5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87. Л. 2; 12. S. 273; 21. С. 53]. Правда, в хорошо снабженном и укрепленном замке заперлись четыре роты пехоты во главе с “немчином италийской земли Ергиком Кондарадом”, которые отбили первые приступы [15. S. 220]. Хованский отступил за город, “отаборившись возами”, и отправил погоню за уходящими литовскими обозами. Обрадованные отходом неприятеля, “брестские сидельцы” стали праздновать: пехоте было выдано вино из гетманских запасов, а шляхта устроила бал и пир. В ночь на 3 января 1660 г. один из заключенных в замке русских пленных¹ сумел выбраться за стены и предупредить Хованского, “что все пьяны” [12. S. 273]. Тот немедленно, “имея с собой лестницу”, доскакал до Бреста, начал приступ и на сей раз взял город. Его “выжгли и высекли”, не пощадив и многих мирных жителей: “женщин и мужчин, шляхту и не шляхту, взрослых и малых, даже грудных детей в том местечке и замке немилосердно поубивали”. Тела убитых (от 1700 до 1900 человек) были брошены без погребения в ров крепости [22. S. 144, 145; 12. S. 273, 274; 23. S. 288]. Команданта, ротмистров и ряд других пленников (всего 50 человек) Хованский отправил в Москву [5. Ф. 210. Оп. 17. Д. 73. Л. 125–130]. Русские потери были невелики: М. Обухович справедливо записал, что Брест достался им малой кровью [24. S. 67] (ср.: [5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87. Л. 2 об.]). Узнав о победе, Алексей Михайлович велел боярину построить и освятить в Бресте церковь во имя архистратига Михаила [5. Ф. 27. Оп. 1. Д. 166. Л. 5], вероятно, в память о событии 1655 г.

Строго говоря, описанное выше обращение с захваченным городом и вражескими землями не было в то время чем-то необычным: с еще большей жестокостью действовали “лисовчики” и черкасы в Смутное время и литовские “волонтеры” под Новгородом и Псковом в 1661–1666 гг. [5. Ф. 210. Оп. 11. Д. 188. Л. 94, 95, 212–218; 25. С. 114, 134; 26. С. 206, 208]. Однако, в свете известных ограничений и запретов “воевать” ряд областей ВКЛ в походах 1654–1655 гг., действия ратных людей Хованского приобрели характер кары за измену царю. Подобно тому как внутри страны любое неосторожное слово вызывало жесточайшее следствие по “слову и делу государеву” (подробнее см.: [27]), так и на войне отказ сдаться “на государево имя” или измена царскому “крестному целованию” влекли за собой не только беспощадное “выжигание и высечение” города и области, но и соответствующее отношение к телам убитых, известное в этнографии как похороны “заложных покойников” [28. С. 40, 41, 91 и след.; 29. С. 17–34; 30].

Падение Бреста ставило под угрозу саму Варшаву, до которой оставалось всего 100 верст. “Воюя коронную землю”, русская конница доходила до Люблина и Холма на юге, до Лукова, “который грамоту от Хованского взял”, на западе; разъезды ее появились в 20 верстах от польской столицы: так, “в загоне под Аршавою” понесла потери сотня сомерских и копорских казаков [23. S. 288; 5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 27.

¹ Жалование за полное терпение получили в марте 1660 г. 26 “брестских сидельцев” (5. Ф. 396. Оп. 2. Д. 313. Л. 43, 44 об.)

Л. 536; Д. 87. Л. 2 об.]. Здесь, однако, обстановка осложнилась тем, что зимние квартиры в Подляшье и Мазовии поляки предусмотрительно предоставили австрийским войскам генерала Гейстера, своим союзникам в войне со Швецией. Хованский решил оказать моральное давление на Гейстера, продемонстрировав его представителю, капитану Розенштейну, участь защитников Бреста. Согласно рапорту капитана, боярин «поведал мне, что имеет 100 000 войска, поэтому Польша тут как передовую стену (Vormauer) против московитов и поставила, а при этом цесарь с царем в мире. Он дал мне совет, чтобы мы перешли на другую сторону Вислы, а он эту сторону займет» (цит. по: [22. S. 144, 145, XLVII–XLVIII]). Правда, вскоре изменение обстановки сняло вопрос об отношениях с «цесарцами».

В начале января 1660 г. на борьбу с Хованским начали выдвигаться новые части. Лояльная королю «дивизия» С. Чарнецкого, только что вернувшаяся из похода в Данию, срочно выступила к Варшаве и сняла угрозу столице [31. S. 413–417]. Литовская «дивизия правого крыла» под командой польного писаря Литовского Е.Х. Полубенского 12 (22) января двинулась из Митавы к Бресту [32. S. 243], а на следующий день из Ковеля выступил полк М. Обуховича (восемь «казацких» и пять драгунских хорунг), оказавшись в авангарде этой дивизии. 15 января под Малчасом (северо-восточнее Бреста) молодой полковник завязал бой с отрядом стольника кн. Петра Хованского, старшего сына воеводы (несколько «сотен» и полк рейтар М. Реца). Показателен ход столкновения. Сначала четыре литовские хорунги опрокинули часть рейтар и стали наводить остальную конницу на оставленных позади драгун. Но в этот момент под Обуховичем убили коня и взяли его в плен; литовские драгуны бросили свои позиции без единого выстрела, после чего без боя побежала и остальная конница [24. S. 65, 66; 23. S. 288]. Кроме полковника, в плен попали 18 «товарищей» и драгуны [5. Ф. 210. Оп. 17. Д. 73. Л. 131–134]. Потери русских были ничтожны: если верить рассказу самого Обуховича Б.К. Маскевичу, он оказался чуть ли не единственным их виновником [5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87. Л. 11 об.–13 об.] (ср.: [12. S. 283]).

Тогда же стряпчий Л. Грамотин привез Хованскому указы о переписке с польскими комиссарами о переговорах и о «промысле» над Полубенским в Курляндии: на переписку с Москвой через Вильно и Полоцк уходило два месяца, и там еще не знали о взятии Бреста. К тому времени части Полубенского и жмудского «посполитого рушения» уже «позалегли» все дороги между Вильно, Ковно и Гродно, нападая на идущих из полков Хованского «всяких чинов людей в московские города с погромною рухледью и с полоном»; вскоре в плен угодил и сам Л. Грамотин, отправленный обратно в Москву через Вильну с «сеунчиком»² кн. С. Мышецким [5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87. Л. 3, 14; Оп. 12. Д. 418. Л. 535–536, 577]. Хованский выступил 24 января навстречу литовцам «путем Урусова, который после виигранной Верховицкой [битвы] завоевал поветы Слонимский, Волковысский и воеводство Новоградское, где никто не оборонялся» [24. S. 67]. Однако Полубенский не принял боя и отошел, отправив к Хованскому шляхтича Гедройца с предложениями перемирия и обмена Грамотина и других плененных на своих мать и племянницу, Обуховича и гусара Быковского, предыдущего посла к боярину [33. S. 131].

В это время Хованский в Новоградке принимал изъявления покорности от шляхты окружающих поветов, организовывал ее присягу царю и сажал воевод из дворян своего полка. Прежде отменявший все предложения о перемирии («Трактаты трактатами, а война войною»), боярин неожиданно согласился устроить размен и уйти в Гродно и Псков [7. Т. 3. С. 47]. После беспримерного рейда новгородцы были до-

² Гонец, который вез царю «сеунч» – весть о победе. Как правило, это был один из младших командиров, отличившихся в бою, и в виде награды получавший в Москве особое жалование.

нельзя обременены добычей и полоном, а Хованский мог посчитать свою задачу выполненной. По воспоминаниям Маскевича, боярин торжественно объявил шляхте о прощении измены и уходе своего войска, чтобы не обременять их, и повелел при появлении королевских войск уходить в леса и дать весть ему в Псков – не то “в другой раз не будет над вами милосердия”. Вскоре он “отправил с казной на Русь возов, как утверждали, 15000”, но внезапно отменил свое решение об отходе: Полубенский прислал новое письмо, в котором вызывал его на бой [12. S. 274–286]. Письмо могло быть вызвано тем, что “по посылке” боярина провожатые литовцы с Грамотиным и другими обманом были перебиты без всякого размена [7. Т. 3. С. 48], – если только последнее не произошло позже.

Как бы то ни было, в ночь на 16 февраля Хованский с конницей и виленским полком солдат В. Кунигама внезапно ринулся на запад, “а поскольку привык поспешать, то и тогда также поступил, ибо за одну ночь в Деречине стал, деревне пана писаря польного, всюду паля и хлопов грабя” [12. S. 286]. Однако, даже такой 70-верстный бросок не помог боярину, так как Полубенский успел уйти за Буг, который после этого вскрылся ото льда. Передовые сотни успели только потрепать полк Вяжевича в Деречине и отбить часть литовского обоза в Милечицах (на р. Буг) 16 и 17 февраля [5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87. Л. 3, 3 об., 14]. Поход сорвал соединение Полубенского и Чарнецкого, чья дивизия переправилась было через Буг юго-восточнее Бреста, но была вынуждена спешно отступить к Лукову [31. S. 417, 418].

Получив сведения о наметившемся соединении поляков и литовцев уже за Бугом, а также о бунте в литовском войске из-за невыплаты жалования [7. Т. 3. С. 56–58, 85], Хованский убедился, что путь к Варшаве закрыт, но и завоеванным поветам мало что угрожает. Русские “обвоевали” окрестности Бреста, снабдив гарнизон (1 тыс. человек) запасами “на 2 года”, и построили в замке новую стену [7. Т. 3. С. 125]. Возможно, воевода все же договорился о перемирии на три месяца через того же Гедройца, вернувшегося 25 февраля к Полубенскому, и выступил со своими полками 1 марта из Бреста на восток [15. S. 228, 231; 31. S. 418].

Теперь его путь лежал на Ляховичи, одну из трех последних не занятых русскими “фортеций” Белоруссии. Вместе со Слуцком и Несвижем они оставались серьезным очагом сопротивления, куда недавно отступили выбитые из Турово-Пинской земли отряды Д. Мурашки и С. Оскерки (белорусские казаки-изменники и шляхта) [20. С. 90]. За надежными стенами маетностей П. Сапеги (Ляховичи и Несвиж) и Б. Радзивилла (Слуцк), укрепленных по лучшим образцам западноевропейской фортификации [34. С. 83–90, 107, 108], скрывалось множество знатной и богатой шляхты.

По пути, в местечке Журовичи, Хованского встретил стольник К. Щербатов с похвалой от Алексея Михайловича самому воеводе и всем его ратным людям, будто за их “храбростью великое княжество Литовское все хочет учиниться под ... самодержавною рукою в вечном подданстве”. Правда, конкретные указания безнадежно устарели: предписывалось “зимним временем до весны ... посылать войной” к Варшаве и другим городам, “и Аршава разорить, и пушки московские, которые есть в Аршаве, привезти к себе”. В ответ Хованский пообещал послать на Варшаву после распутицы, объяснил настоящий поход заботой о безопасности тыла и попросил подмоги. Он скромно оценивал возможности своего войска, считая необходимым поход главных сил с самим царем: “Ныне время тебе промысл чинить над неприятелем, в кою пору не в большом собранье, и Богом [г]оним по твоей праведной молитве, трепетен неприятель от твоего храброго меча” [7. Т. 3. С. 56–58].

В середине марта 1660 г., одним своим появлением прогнав казаков Мурашки к Слуцку [7. Т. 3. С. 58], победоносный легион Третьего Рима подступил к Ляховичам. “Москали шли как на мед или забаву какую, смело, имея оружие надежное, а бердыши – ясно полированные, острые и веревки с петлями конопляные у пояса, для вязания наших” (цит. по: [35. S. 360]). На предложение о сдаче гарнизон крепости ответил отказом, и было решено идти на приступ. В ночь на 26 марта пехота, казаки и полоцкие шляхтичи незаметно подошли к стенам и взобрались на них, водрузив да-

же знамена. Но неизбежный в ночном бою “ясачный крик” (пароль) “Царев город!” заставил многочисленных защитников Ляховичей (2500 человек) броситься на стены, откуда они сбили еще немногих забравшихся и стрельбой и камнями стали поражать штурмующих [12. С. 297]. С тяжелыми потерями – 10 старших офицеров и две сотни ратников – русским пришлось отступить. Царь, при известии о неудаче, запретил новые штурмы и сделал воеводе выговор [7. Т. 3. С. 64, 65]. Однако осада была серьезно осложнена нехваткой “стенобитного наряда” (осадной артиллерии) и пехоты. Орудия крепости доставали до “таборов” – русского лагеря, а извне на него нападали конница из-под Слуцка и Несвижа. Осаждающие смогли отвести воду, осушив ров, подожгли деревянные строения в замке [20. С. 92], но, кроме как на новый штурм, надеяться было не на что.

По уверению Маскевича, Хованский привлек даже колдуна-мельника, вызвавшегося помочь москалям “достать Ляховичи”. Он пообещал “заговорить” все огнестрельное оружие замка и сделать “лестницу на срубях”, способную подняться на стены сразу 2 тыс. человек [12. С. 298, 300]. Возможно, о чем-то подобном узнал С. Чарнецкий, сказавший накануне приступа (по Пасеку): “Я имею сведения, что ... на штурм Ляховичей готовились и только [ждут, как] им лестницы и другие принадлежности привезут, так как потеряли все при первых штурмах” [36. С. 90].

Тем более, что военная ситуация в Восточной Европе в это время стала серьезно меняться. Вскоре после неудач в Дании шведский король Карл X Густав скончался, и истощенная Швеция пошла на заключение мира с Речью Посполитой и ее союзниками (3 марта (н. ст.) 1660 г.). В итоге, уже весной шведы, стараясь повлиять на ход переговоров с Россией, стали шантажировать ее походом по Западной Двине – и слухи об этой угрозе достигли Новгородского полка уже в апреле [5. Ф. 27. Оп. 1. Д. 166. Л. 72]. Но гораздо опаснее стало полное освобождение для войны на востоке всей польской армии: более 50 тыс. только “компутовых” (состоящих на жаловании) воинов, закаленных в беспрестанных боях со шведами, казаками, венграми и татарами [37. С. 96–99]. Правда, обычные для Республики внутренние неурядицы отдаляли момент выступления: коронные и литовские сенаторы спорили о направлении главного удара – на Украину или Литву, а войска перманентно бунтовали из-за отсутствия жалованья. Так, “сапежинская дивизия” после вторичного бегства от Хованского составила конфедерацию во главе с С. Кмичичем³, отказавшись подчиняться Полубенскому – “что он из Курляндии их вывел и их с голоду поморил, а в Курляндии им было кормно”. Кмичич предъявил королю претензии о жаловании и даже грозился в связи с этим перейти с войском на службу к московскому царю [16. С. 26; 7. Т. 3. С. 85]. Дивизия “левого крыла” (“жмудская”) во главе с М. Пацем не спешила под команду П. Сапеги из-за недоверия к гетману и стремления “региментаря” укрепить личное положение в Курляндии [35. С. 360; 20. С. 89]. Росло дезертирство, а в коронных землях распространялись панические слухи о походе Хованского на Варшаву и Пруссию и даже пленении С. Чарнецкого [31. С. 420].

Тем временем Хованский попытался наладить отношения со шляхтой завоеванных земель. Присягнувшие царю шляхтичи получали охранную грамоту и “залог” – солдата или стрельца – для охраны своего имения [12. С. 286–288]. Зная о конфедерации литовского войска, боярин согласился с предложением кн. Ф. Горского, воеводича мстиславского, начать вербовку в отряд последнего хорунги шляхетские и 500 драгун – в надежде переманить туда литовцев щедрым царским жалованием [7. Т. 3. С. 58]. По словам Б. Маскевича, оказавшегося среди новых “присяжных”, Хованский не слушал наветов об их изменных замыслах – в чем, кстати, больше всего старалась “шляхта русская” во главе с полковником Слонским (т.е., полоцкая). Однако, возможно самым недобрым чем-либо уйти в одну из королевских крепостей привела к новым изменам, после чего «крикнула вся Москва: “От, изменники все,

³ Фамилия воспроизводится по русским документам.

всех вырубить надо»», – и, по словам Маскевича, “приказано уже все дворы, кроме самого Новогрудка, грабить и жечь. И так было” [12. С. 289, 301]. В апреле отряд из-под Ляховичей в “несколько десятков коней” пробрался даже к с. Выгонощи под Пинском, разведав туда переправы через болота [18. С. 145, 146].

Попытки активизировать военные действия литовцев получили действительную поддержку местной шляхты. Так, в ночь на 19 апреля полк Сесицкого при помощи шляхты и мещан ворвался в “большой город” в Вильно – правда, был довольно легко отброшен гарнизоном [7. Т. 3. С. 80–82]. Волонтеры “черкасы” Русецкого тогда же осадили брестский замок, но понесли большие потери при попытке подкопа [7. Т. 3. С. 84–85; 15. С. 238, 239]. Дивизия Чарнецкого продвинулась за Буг, и ее “подъезд” 30 апреля без особого труда разбил во Мстибове отряд литовской шляхты, набранный кн. Ф. Горским – несомненно, из-за его низкого морального состояния [31. С. 420; 15. С. 242; 5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87. Л. 5].

Конечно, все это не могло не волновать Хованского, что выражалось не только в отправке карательных отрядов. В своих отписках он постоянно подчеркивал опасность, передавал сведения о мире со Швецией, подготовке похода на его полк и ложности намерений польских комиссаров на переговорах: им-де “только б промысл учинить и города свои отобрать” [7. Т. 3. С. 81]. Поэтому боярин и спешил покончить с Ляховичами. Вскоре к нему прибыли три приказа московских стрельцов (повидимому, 1500–2000 человек), что являлось большой честью для воеводы. Через несколько дней, 15 мая, был предпринят новый приступ.

Какое ему придавалось значение, видно из того, что теперь в штурме приняли участие даже дворяне отборных сотен. Полк В. Кунингама перед отправкой обратно в Вильно также был брошен в бой вместе с присланными ему на смену московскими стрельцами, которых, кстати, использовать так царь строго запретил. Несмотря на все это, приступ был отбит с тяжелейшими потерями: если после первого штурма в Москву за жалованьем за раны отправился 31 человек, то сейчас – 54 [5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87. Л. 16 об. – 37 об.], т.е. всего были убиты и ранены несколько сот человек.

Между тем, к весне 1660 г. значение полка Хованского сильно возросло. Теперь ему отводилась роль главного войска на западном направлении, для комплектования которого ресурсов одного Новгородского разряда было явно недостаточно. Уже при известии о взятии Бреста Хованскому направили московских стрельцов. В ответ на просьбу о подкреплении (от 17 марта) из гарнизонов Смоленска, Витебска, Могилева и Старого Быхова был сформирован отряд умелого, но незнатного воеводы С.А. Змеева в составе “шквандроны” (половина полка) смоленских рейтар, витебской, могилевской и кричевской шляхты, полочинских “грунтовых” и донских казаков, а также опытных, созданных еще в 1653 г., полка солдат Я. Треля и “шквандроны” (шесть рот) из “генеральского полка” А.И. Лесли во главе с его сыном Робертом [7. Т. 3. С. 68, 69, 128] – в общей сложности 2400 человек, имевших наградные золотые за взятие Старого Быхова 6 декабря 1659 г. [5. Ф. 210. Оп. 6. Д. 35]. Змеев прибыл к Ляховичам 27 мая, успешно отбив под Слуцком нападение отрядов С. Оскерки “со товарищи” и захватив в плен более 30 гусар. Уже через день он приступил к осаде соседнего Несвижа [7. Т. 3. С. 69, 95].

Еще один воеводский полк стал создаваться 23 мая, когда государеву грамоту о назначении в “сходные воеводы” к И.А. Хованскому, а также наказ и списки ратных людей получил брат боярина – князь Семен Хованский. На усиление его отряда по указу от 8 июня направлялось два полка солдат (2000 человек) Днепром из Киева, а в Борисове дожидались приказ московских стрельцов и “добрые и полные” дворяне московских чинов (250 человек и даточные) из охраны послов [7. Т. 3. С. 82, 100; 5. Ф. 233. Оп. 1. Д. 102. Л. 20–22]. Наконец, тогда же “в сход” к Хованскому были направлены Нежинский и Черниговский полки украинских казаков В. Золотаренко [5. Ф. 27. Оп. 1. Л. 59]. В целом к концу июня войско боярина должно было увеличиться до 30–40 тыс. человек.

Для его обеспечения была заранее организована поставка продовольствия (хлеб и крупа) и боеприпасов. Воеводы Полоцка и Борисова отправили первые значительные обозы 17 и 26 мая соответственно [7. Т. 3. С. 67, 78]. А 23 июня достигла Смоленска посланная из Москвы для осады Ляховичей “верховая пушка” (мортира) с гранатами [7. Т. 3. С. 103, 104].

Замысел командования раскрывается в статьях и “Тайном наказе”, данных стольнику В. Кикину 22 июня 1660 г. Здесь уже подразумевалось прекращение переговоров в Борисове и после провожания польских послов восвояси указывалось “итить в войну на их польские обозы ... и до Аршавы”. Базами назначались Брест и Гродно, сроки похода – с июля по 8 сентября: в знак особой милости конникам Новгородского разряда было обещано отпустить их домой “летним путем по траве”. Особые статьи предназначались дворянам и детям боярским, в том числе обещался сыск беглых крестьян, невзимание новых даточных, защита их семей от притеснений; развеивались слухи о новом походе шведов; при нахождении в Польше указывалось “женска полу, також и младенцов и мужиков, которые битца не учнут ... раздавать в полон ратным людям и гнать их в Московское государство со всеми их животы, и скотом, и хлебом, чтоб им в дороге не помереть голодом”.

В отношении конкретного плана действий И.А. Хованскому давалась полная свобода действий (“смотря по тамошнему делу”) и большая власть, в том числе распоряжаться “маетностями изменников”. По осени, после отхода, намечалось оставить гарнизоны лишь в Бресте и Гродно [5. Ф. 27. Оп. 1. Л. 58–76]. Целью этого похода было буквально поставить Речь Посполитую на колени и продиктовать ей унижительный мир: условия мирного договора в “Тайном наказе”, который Хованский должен был “вскрыть, когда польские и литовские люди учнут говорить о мире”, можно было обсуждать только при таком развитии событий [5. Ф. 27. Оп. 1. Л. 245–267].

Между тем, план кампании разрабатывался и противной стороной. На прошедшем 24–30 мая (н. ст.) в Варшаве военном совете так и не удалось согласовать направление главного удара, но поход на выручку Ляховичей твердо решено было начать уже 12 июня (н. ст.) соединением войск П. Сапеги и С. Чарнецкого [31. S. 420–422]. Решения польских военачальников говорят о том, что они спешили сразиться, пока к Хованскому не подошли новые подкрепления. Кстати, сенатор Я.А. Храповицкий в начале их похода писал, что боярин примет бой, потому что ему необходимо оправдаться за неудачи под Ляховичами [15. S. 549].

Костяк войска Чарнецкого составляли хорунги “коронного” Королевского полка, находившиеся под личной опекой и в распоряжении короля и прошедшие трудный боевой путь в беспрестанных войнах. Перед походом в Данию, в 1658 г., под начало “воеводы русского” была поставлена уже целая “дивизия” из нескольких полков – 5 тыс. человек отборной конницы и драгун, а сам Чарнецкий был сделан “как бы третьим гетманом” – с титулом “генерала войск Его Королевского Величества” [38. S. 61, 62; 39. S. 118]. Этот “гетман” был лоялен королю, что отражалось и на обеспеченности дивизии. В ней поддерживалась строжайшая дисциплина, и даже внешним видом – более европейской (после Дании) одеждой – она выделялась из массы польских войск. Но, конечно, главным являлось тактическое мастерство, основанное на традициях “лисовчиков” и за пять лет войны достигшее совершенства. Обманные отступления, засады, глубокие обходные маневры – все это успешно осуществлялось Чарнецким в десятках боев против шведской армии, хорошо обученной по канонам линейной тактики и превосходившей поляков в слаженности движений и силе огня [39. S. 338–345]. Летом 1660 г. дивизия включала в себя более 4000 человек, в том числе гусар Короля и Чарнецкого (350 человек) и пять отрядов драгун (1300 человек) [40. S. 127].

Литовские войска, напротив, не обладали столь же высокими боевыми и моральными качествами: они не раз бежали при одном появлении Хованского, а местное население говорило, что “пана Чарнецкого жолнеры – ангелы, а литва – дьяволы”.

Хотя в мае конфедерация С. Кмичича прекратила свое существование, уже сам гетман П. Сапега не спешил выступать и в итоге опоздал на десять дней. По словам Пасека, Чарнецкий в сердцах пообещал гетману выступить для спасения Литвы один, не дожидаясь его, что и заставило литовцев, наконец, двинуться [36. S. 64, 104]. Численность своего войска гетман оценивал в 8 тыс. человек, в составе которых находились гусары короля и Сапеги и до 3 тыс. драгунской пехоты. В общей сложности силы противников Хованского оцениваются в 6–8 тыс. конницы, 3–4 тыс. драгун, семь или девять орудий [31. S. 423; Ср.: 7. Т. 3. С. 123, 124, 166, 187, 188].

Какими силами располагал московский воевода? Обеспокоенный волнениями в Литве, он в течение мая – июня посылал карательные отряды в присягнувшие поветы. Так, накануне битвы при Полонке до 400 рейтар разных полков отправились под Вильну, где полковник Сесицкий вновь “перенял” дороги. Сразившись с литовцами 10 июня, они повернули в Глубокое для сопровождения обоза из Полоцка под Ляховичи [12. S. 301; 7. Т. 3. С. 67, 139]. Другой отряд, возможно, сотня новгородских казаков, еще 16 июня сопровождал обратно через Минский повет стольника И. Кондырева [18. С. 152, 153; 7. Т. 3. С. 118].

Отправка в тыл добычи и полона также отвлекала значительные силы. Так, в феврале с полковником Обуховичем в обход Вильны через Глубокое было отправлено 90 рейтар, а всего только в полк М. Реца к 18 июня еще не вернулось из провожавших “вязней” 160 человек [7. Т. 3. С. 118; 24. S. 68]. Дисциплина ослабла, и многие шляхтичи, а также рейтары самовольно уезжали из полка [5. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 64. Л. 245 об.–258 об.; Ф. 210. Оп. 9. Д. 317. Л. 280]. В итоге, из начавшей поход конницы у Хованского оставалось всего 700 дворян и 350 казаков в сотнях, 1600 – в трех неполных полках рейтар и до 1100 человек полоцкий шляхты (подсчитано по: [7. Т. 3. С. 117–119; 5. Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Д. 64. Л. 215–263 об.]).

Еще более плачевной ситуация выглядела в пехоте, которая за время похода сократилась вдвое. Правда, среди ее начального состава потери, несмотря на ряд неудач, были невелики. К середине июня в драгунском полку оставалось 29 начальных людей и 219 рядовых, в трех солдатских – соответственно 75 и 1143. Все четыре приказа городских стрельцов после потерь и командировок в различные гарнизоны составляли, по нашим расчетам, не более 600 человек [7. Т. 3. С. 117–119]. В целом, с учетом московских стрельцов и полка С.А. Змеева, под Ляховичами и Несвижем Хованский имел не более 4.8 тыс. конницы и 5.4 тыс. пехоты.

Итак, по численности и качеству русские явно уступали в главном, в то время господствовавшем на полях Восточной Европы роде войск – коннице. То, что отличало рейтар западных армий – твердая дисциплина и слаженность действий, еще не вполне было усвоено новгородцами, ведь приемы западной муштры не всегда годились для покрытых шрамами гордых детей боярских и казаков. Хорошо обученная и опытная пехота могла компенсировать указанный недостаток, но лишь при достаточно грамотном тактическом руководстве. Между тем, в 1654 – 1660 гг. боевые действия чаще всего носили характер так называемой малой войны – отдельных мелких стычек. Так, кн. И. А. Хованский уже пятый год был полковым воеводой, но участвовал лишь в двух крупных битвах: в ночном бою под Гдовом, где разбил шведов М. Делагарди (1657 г.), и при Мядзелах (1659 г.) против литовцев. Показав себя за это время мастером традиционного для Восточной Европы военного искусства – с его ночными атаками и маршами, глубокими обходами и обманными движениями, он с трудом адаптировался к новой, линейной тактике. При Гдове он доверил руководство боем эскадронам рейтар и солдат опытным офицерам и младшим воеводам, а при Мядзелах вообще оставил их в тылу [5. Ф. 210. Оп. 12. Д. 488. Л. 27]. Поход 1659–1660 (7168) г. стал первым, в котором уже новгородская конница начала осваивать “рейтарский строй”, и это не могло не осложнить для князя руководства ею в бою. Сравнение его действий при Полонке и под Гдовом [41. С. 340–343] показывает, что они оказались довольно шаблонными.

Битва при Полонке обеспечена обширным корпусом источников и исторических сочинений с польской стороны. Ее описание занимает видное место в мемуарах Б.К. Маскевича [12. С. 302, 303], М.Форбек–Леттова [23. С. 291], Лося [42. С. 50–55] и дневнике Я.А. Храповицкого [15. С. 249–251]; она является, пожалуй, наиболее ярким эпизодом знаменитых записок Я.Х. Пасека [36. С. 94–101]. Добротные очерки содержатся в работах А. Валевского [22. С. 155, 156] и Л. Кубалы [35. С. 363–366]; исчерпывающая характеристика польских источников – в книге А. Керстена [31. С. 423]; обстоятельный военно-исторический разбор, снабженный схемой, – в польской военной энциклопедии [43. С. 665–668]. Вместе с тем слабой стороной всех указанных очерков является опора исключительно на польские источники и полное отсутствие данных противной стороны. Показательно, что сведения единственного доселе известного русского описания битвы, из письма Алексея Михайловича к А. Матюшкину [44. С. 64–67]; (подробнее см.: [45]), обычно с ходу отвергаются ими как недостоверные. Ввиду этого, целесообразно привести здесь краткий очерк боя, снабженный новыми сведениями русских документов.

Соединение войск Сапеги и Чарнецкого произошло 13–14 (23–24) июня 1660 г. по дороге к Слониму. Литовские “подъезды” 15 июня атаковали русских в окрестностях города, взяв в плен голову дворянской сотни; на следующий день коронные хорунги Поляновского разбили в самом городе части отряда, возвращавшегося из-за Немана: погибли два ротмистра, ранен сотенный голова, в плен попали 18 человек [5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87. Л. 38–39 об.; 7. Т. 3. С. 117–119; 15. С. 249; 31. С. 423; 35. С. 362]. Застав врасплох русские отряды, полякам удалось достичь важного морального преимущества.

Однако Хованский не собирался уступать инициативу. Уже 16 июня С.А. Змеев, узнав о происходящем, “все возы отправил за Неман, а сам, запалив лагерь под Невшижем ... со всеми своими силами двинулся под Ляховичи на помощь Хованскому” и соединился с ним на следующий день [23. С. 290, 291]. Тем временем сам боярин послал на разведку к Слониму Подъезжую сотню Ульяна Нащокина, усиленную рейтарами, и стал готовиться к выступлению. Главе прибывшего в Борисов посольства ближайшему боярину кн. Н.И. Одоевскому он послал записку следующего содержания: “Князь Никита Иванович! Бога ради берегитесь: идут на вас люди из Жмуди, а на нас уже пришли Чарнецкий со товарищи; посольству у вас никак не статься, обманывают: не покручинься, что коротко написал; и много было писать, да некогда, пошел против неприятеля. Ивашка Хованской челом бьет. Бога ради, берегитесь!” (цит. по: [45. С. 15]).

Итак, несмотря на недостаток сил, и мысли об отступлении не возникло. Трагедия этого как “беспутной дерзости” воеводы – фраза, брошенная в сердцах царем, – в свете приведенных выше фактов представляется неудовлетворительной [46]. И дело не только в том, что под Ляховичами были уже сосредоточены крупные запасы продовольствия для разворачивающейся крупной армии: буквально накануне битвы боярин получил на этот счет недвусмысленный приказ царя. Стольник И. Кондырев, выехавший в Литву 25 мая, в ответ на тревожные сообщения воеводы от конца апреля должен был “говорить боярину ... о промысле над польскими и литовскими людьми, чтоб им не дать собратца”. А при подходе неприятеля “будет Ляхович не на дороге, и отступить мочно, а будет отступить нельзя, что стоит на пути, и он бы разделся, и, оставя осаду, итить и за Божьею помощью над неприятелем одноконечно промышлять, чтоб неприятеля не дождатца також, что и под Конотопом: все извязли под городом” [5. Ф. 27. Оп. 1. Д. 166. Л. 88–95]. Так что Хованскому оставалось только рассчитывать на обычную внезапность и стремительность действий: неожиданно напасть на противника на марше и посеять панику. Низкий моральный дух литовцев увеличивал вероятность успеха.

Дождавшись Змеева, боярин в тот же день, 17 июня, выступил в поход. Для поддержки движения по плохой дороге он, по своему обычаю, не взял обоз; а для поддержания осады оставил некомплектную новгородскую пехоту [5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87.

Л. 63, 64 об.; 15. S. 302; 23. S. 291]. Тем временем, отряд Нащокина по дороге к Слониму, возле местечка Полонка, столкнулся с авангардом литовцев под командой С. Кмичича (13 хорунг). Сперва русские, как “привыкшие побеждать”, одержали верх, но к вечеру, с подходом новых сил поляков, были опрокинуты и отступили к д. Мыши (30 км северо-западнее Ляховичей), куда к тому времени успели основные силы [35. S. 362; 36. S. 92, 93; 43. S. 665, 666]. Хованский, узнав о неудаче авангарда, не стал задерживаться на ночлег и тотчас поспешил к Полонке – на празднующего успех неприятеля. У него было около 4.5 тыс. конницы и до 4 тыс. пехоты.

Однако Сапега и Чарнецкий, принявшие поначалу отряд Нащокина за главные силы, уже поспешили соединить свои дивизии поздним вечером 17 июня. На восходе солнца (около 5 утра), соблюдая полную тишину, их войско построилось в боевой порядок в полумиле западнее Полонки. По обычаю, на правом крыле стали коронные, на левом – литовские части. Ксендзы и все воины пропели молитвы, и полки, видимо, в колоннах, двинулись на восток. За местечком дорога поднималась в гору, затем по длинной плотине шла через болотистую речку Полонку и снова поднималась на другой берег. По обе ее стороны лежала топкая местность, на юге находилась возвышенность с фольварком, на севере – редкий лесок.

В утреннем тумане при переходе плотины польский авангард внезапно столкнулся с полками белорусской шляхты Хованского. Вначале “присяжные” потеряли пленным полковника Ф. Слонского, но затем смогли одолеть поляков и овладеть переправой. Однако быстрая и грамотная реакция Чарнецкого, фактически взявшего на себя общее командование, исправила положение. Запалив дома Полонки и скрыв за дымом и пригорком подходившие главные силы, он приказал передовым частям притворно отступать. Вид спешно уходящих войск и повозок окончательно уверил Хованского в бегстве неприятеля, таком привычном за последние годы. Он спешно направил солдат Змеева закрепиться за плотинной, подходящие войска стал разворачивать по берегу, а сам с отборными частями встал на правом крыле. Было 8 часов 15 минут.

Змеев перешел речку и начал наступать дальше “с плотной стрельбой”. В этот момент Чарнецкий нанес контрудар: его драгуны с двумя пушками открыли огонь сбоку из засады, а затем коронные гусары атаковали “с палашами” (видимо, приберегал копы для последнего натиска). Это было столь неожиданно, что солдаты “не успели и отыкатца” [44. С. 64], т.е. соорудить заграждение из полулик, и были опрокинуты и отброшены за речку, а Змеев получил тяжелые раны.

Далее сражение развивалось столь же стремительно и драматично, как и завязалось. Уяснив расположение противника, Чарнецкий послал в обход с юга “коронный” полк опытного в этом деле Г. Войниловича, а Хованский решил сломить морально слабейшее литовское крыло севернее, где оно во главе с Сапегой и Полубенским с трудом преодолевало топь. Здесь, по словам Сапеги, “когда мы уже в огне стали, конница нас с тылу обошла, от этого испытали мы большие трудности... ибо нас уже было окружили” (цит по: [35. S. 365]); вожди литовской дивизии едва спаслись. Но развить успех Хованскому не удалось.

В это время конница Войниловича сумела охватить его левое крыло и выйти с тыла на дорогу к Ляховичам, а отборный драгунский полк Чарнецкого под убийственным огнем овладел плотинной и, при поддержке конницы, русскими пушками. Увидев знамена Войниловича в русском тылу, Чарнецкий послал “горячую просьбу” к Сапеге об общей атаке, а сам нанес решающий удар всеми гусарами. Ряд последовательных неудач и ужасающая атака “крылатых гусар” сломали моральный дух русской конницы. Большая ее часть обратилась в бегство, а многие “присяжные” шляхтичи со своей челядью стали добровольно переходить к неприятелю [7. Т. 3. С. 124]. Вся описанная выше схватка продолжалась всего около получаса.

Только лучшие дворяне – “дородные и знатные люди” – продолжали рубиться насмерть вокруг своих знамен, несмотря на всю безнадежность положения. Почти все сотенные головы, командиры двух полков и “шквандроны” и десятки офицеров

рейтар погибли или, израненные, попали в плен; 31 человек из знаменщиков и заводчиков сложили свои головы при защите государева знамени [7. Т. 3. С. 117–119; 5. Ф. 210. Оп. 5. Д. 87. Л. 40–63]. Повальное бегство не затронуло и русскую пехоту. Сохраняя порядок и отбиваясь залпами, она отступила “на полмили” к березовой роще на взгорке, где соорудила засеку и заняла оборону. Все атаки польской конницы оказались тщетны. Лишь после того, как подтянули артиллерию, и орудия дали два перекрестных залпа, пехота начала выходить из засеки с намерением капитулировать. Однако Чарнецкий приказал не давать пощады. Обреченные ратники жестоко отбивались бердышами, убив и покалечив много людей и коней, но были изрублены.

Здесь, однако, возникает ряд противоречий в польских и русских источниках. Во-первых, пехоты все-таки пленники немалого известно, что после боя пленных “солдат и стрельцов Сапега и полковники роздали по своим полкам” [7. Т. 3. С. 124], т.е. пополнили ими свои пехоту и челядь. Более того, 800 стрельцов и 400 солдат, т.е. треть пеших ратников, смогли отойти в целости к Полоцку. Смоленские рейтары в их рядах “бились, не щадя голов своих, и пехоту с собой отводили, и знамена с бою свезли, и пришли ... с бою в Полоцк разными дорогами” [7. Т. 3. С. 143, 144]. Наконец, сам Хованский, как следует из челобитной ратных людей (и вопреки утверждениям польских источников), сумел “отводом” отступить с поля боя к своему обозу под Ляховичи. Здесь он поспешно забрал новгородскую пехоту и продолжил отход к Полоцку. И вовремя: “и как мы... пошли из обозу..., и того ж часу литовские люди пришли прямо в обоз и в обозе... людишок наших достолных всех побили и животишка наши и лошади все поимали без остатку” [5. Ф. 210. Оп. 11. Д. 125. Л. 86].

По максимуму, русские потери можно оценить в 1 тыс. конных и 2,5 тыс. пеших, в том числе более 1 тыс. убитых, похороненных после битвы [42. S. 55]. Многие просто разбежались: так, С. Змеев писал через месяц, что у него побито солдат с 1000, “и, чаять, меньши, потому что иные выходят” [7. Т. 3. С. 128]. Не менее 700 человек попали в плен [35. S. 366], в том числе воевода кн. С.Л. Щербатов, стрелецкие головы М. Ознобишин и М. Волков. Кстати, из пленных бежали в “государевы города” не только русские, но и многие белорусские шляхтичи и их челядники [5. Ф. 137. Оп. 1 Новгород. Д. 64. Л. 245; Ф. 210. Оп. 12. Д. 432. Л. 295, 307]. В заявленном числе взятых орудий – 60 – усомнился еще А. Валиевский, и то, что в дивизии Сапеги было лишь три взятых под Ляховичами пушки [7. Т. 3. С. 124; 22. S. 156], подтверждает сомнения. Количество отбитых знамен – 120 – тоже сильно преувеличено. Поляки, по собственным показаниям, потеряли свыше 300 человек убитыми и “огромное количество” ранеными [43. S. 667], при этом их потери приходятся преимущественно на кавалерию. Правда, убыль эта была восполнена перебежчиками и пленными. Кроме того, в их руки попала огромная добыча: полковая медная и серебряная казна, медные пушки, тысячи голов скота, продовольствие и боеприпасы.

Но главное, полностью провалились планы русского командования по наступлению на Варшаву. Уходивший отряд Хованского на р. Вилии был встречен новгородскими рейтарами, сопровождавшими полоцкий обоз, который повернул назад при известии о поражении [7. Т. 3. С. 139]. После этого боярин через Долгинов, Докшицы и Глубокое прибыл 26 июня в Полоцк. По пути в боях и, главное, в атмосфере паники была потеряна почти вся новгородская пехота: в Полоцке не досчитались 797 солдат (осталось 346) и почти всех драгун (осталось 11 человек). На смотре 1 июля объявилось только 2333 конных и 1144 пеших ратных людей Новгородского разряда, 135 конных и 400 пеших С.А. Змеева, не считая полоцкой шляхты (до 700 человек) [7. Т. 3. С. 117–119, 128; 5. Ф. 137. Оп. 1 Новгород. Д. 64. Л. 215–263 об.]. Конечно, с такими остатками полков, да еще и деморализованными, нечего было и думать о новом походе. Полковник А. Силин со своим Черниговским, частью Нежинского полков и “охотниками”, шедший “в сход” к С. Змееву, был застигнут известием о битве в Бобруйске и отступил к Нежину [7. Т. 3. С. 114, 115, 134]. Наконец, отряд кн. С.А. Хованского так и не был собран и более не упоминается в источниках. Единст-

венное, послам, предупрежденным об опасности, удалось вовремя ускакать из Борисова в Смоленск [7. Т. 3. С. 104].

Поражение повлекло за собой окончательное отпадение западной половины ВКЛ от царской власти: небольшие гарнизоны Новогрудка и некоторых других городов капитулировали сразу, а Брест, Гродно и Вильно – после одно-двухлетнего сопротивления [7. Т. 3. С. 349; 31. S. 352]. Правда, продвижение польско-литовской армии остановилось под Борисовым, взять который ввиду полного отсутствия осадных средств ей не удалось. Осенью же спешно созданный полк кн. Ю.А. Долгорукова остановит дальнейшее продвижение неприятеля на восток.

И все же Литовский поход 7168 г. кн. И.А. Хованского нельзя назвать бесплодным. Страшная память о нем заставляла литовцев уделять его полку самое пристальное внимание, подчас несоразмерное с реально исходящей от него угрозой, и почти забыть смоленское направление. Как говорили сами “языки”: “А на государевых ратных людей, которые в Полоцке, идут для того промысл чинить, что они им грубны, воевали в их земле 2 года и поветы разоряли” [7. Т. 3. С. 222]. Постоянное чрезмерное восхваление побед над Хованским всеми, сколько-нибудь причастными к ним мемуаристами показывает значение в их глазах этой личности и полка Новгородского разряда – полка, по объективным причинам одного из самых слабых и ненадежных в русской армии. События 1660 г. положили начало нескольким историографическим традициям в трактовке личности и исторической роли князя Ивана Андреевича Хованского – феномену, достойному отдельного исследования не меньше, чем история самого похода или полководческая деятельность воеводы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Очерки истории СССР. Период феодализма: XVII век / Под ред. А.А. Новосельского и Н.В. Устюгова. М., 1955.
2. Мальцев А.Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века. М., 1974.
3. Буганов В.И. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин // Вопросы истории. 1996. № 3.
4. Кошелева О.Е. Коллективные челобитья дворян на бояр (XVII в.) // Вопросы истории. 1982. № 12.
5. Российский государственный архив древних актов.
6. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 1.
7. Акты Московского государства, изданные Императорской Академией Наук. СПб., 1894–1901. Т. 2: Разрядный приказ. Московский стол (1635–1659); Т. 3: Разрядный приказ. Московский стол (1660–1664).
8. Аграрная история Северо-Запада России XVII века / Ред. А.А. Шапиро. М., 1980.
9. Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией Императорской Академии Наук. СПб, 1836. Т. 4.
10. Новосельский А.А. Исследования по истории эпохи феодализма: Научное наследие. М., 1994.
11. Гадзяцкий С.С. Борьба русских людей Ижорской земли в XVII веке против иноземного владычества // Исторические записки. М., 1945. Т. 16.
12. Pamiętniki Samiela i Bogusława Kazimierza Maskiewiczów (wiek XVII). Wrocław, 1961.
13. Чернов А.В. Строительство вооруженных сил Русского государства в XVII веке (до Петра I). М., 1949.
14. Kotłubaj E. Galeria Nieswieżska portretów Radziwiłłowskich. Wilno, 1857.
15. Chrapowicki J.A. Diariusz. Warszawa, 1978. Cz. 1: Lata 1656–1664.
16. Codello A. Konfederacja wojskowa na Litwie w l. 1659–1663 // Studia i materiały do historii wojskowości. Warszawa, 1960. Т. VI. Cz. I.
17. Крестоприводная книга шляхты Великого княжества Литовского 1655 г. // Памятники истории Восточной Европы. М.; Варшава, 1999. Т. IV.
18. Акты, изданные Виленской комиссией для разбора древних актов. Вильно, 1909. Т. 34: Акты, относящиеся ко времени войны за Малороссию (1654–1667).
19. Записки отделения русской и славянской археологии Императорского Русского археологического общества. СПб., 1861. Т. 2.
20. Сагановіч Г. Невядомая вайна 1654–1667. Мінск, 1995.

21. *Ткачов М. А.* Замки Белоруссии. Минск, 1977.
22. *Walewski A.* Historia wyzwolenia Rzeczypospolitej. Kraków, 1872. Т. II.
23. *Vorbek-Lettow M.* Skarbnica pamięci. Wrocław, 1968.
24. *Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w Polsce XVII wieku.* Wilno, 1857.
25. *Буссов К.* Московская хроника 1584–1613 // Хроники Смутного времени. М., 1996.
26. *Витсен Н.* Путешествие в Московию 1664–1665. Дневник. СПб., 1996.
27. *Лукин П.В.* Народные представления о государственной власти в России XVII века. М., 2000.
28. *Зеленин Д.К.* Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995.
29. *Зеленин Д.К.* Древнерусский языческий культ заложных покойников // Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1917–1934. М., 1999.
30. *Булычев А.А.* Между святыми и демонами (Заметки о посмертной судьбе опальных Ивана Грозного). 3. Погребение опальных царя Ивана Грозного в зеркале традиции (готовится к публикации).
31. *Kersten A.* Stefan Czarniecki 1599–1655. Warszawa, 1963.
32. *Podhorodecki L.* Kampania polsko-szwedzka 1659 r. w Prusach i Kurlandii // Studia i materiały do historii wojskowości. Warszawa, 1958. Т. IV.
33. *Nagielski M.* Chorągwie Husarskie Aleksandra Hilarego Polubińskiego i króla Jana Kazimierza w latach 1648–1666... // Acta Baltico-Slavica. Wrocław, 1983. Т. XV.
34. *Ткачоў М. А.* Абарончыя збудованні заходніх зямель Беларусі XIII–XVIII ст. Мінск, 1978.
35. *Kubala L.* Wojny Duńskie i Pokoj Oliwski 1657–1660. Lwów, 1922. (Szkice historyczne, ser. VI).
36. *Pasek J. Ch.* Pamiętniki Jana Chryzostoma z Gosławic Paska / Opr. J. Czubek. Lwów, [1929].
37. *Wimmer J.* Wojsko i finanse Rzeczypospolitej w czasie wojny ze Szwecją, 1655–1660 // Wojna polsko-szwedzka 1655–1660. Warszawa, 1973.
38. *Nagielski M.* Liczebność i organizacja gwardii przybocznej i komputowej za ostatniego Wazy (1648–1668). Warszawa, 1989.
39. *Majewski W.* Polska sztuka wojenna w okresie wojny Polsko-Szwedzkiej 1655-60 // Studia i Materiały do Historii Wojskowosci. Wrocław, 1958. Т. XXI.
40. *Wimmer J.* Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku. Warszawa, 1965.
41. Сборник Московского архива Министерства юстиции. М, 1914. Т. 6.
42. *Пamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernej...* Krakow, 1858.
43. *Encyklopedia Wojskowa / Red. O. Łaskowskij.* Warszawa, 1937. Т. VI.
44. *Собрание писем царя Алексея Михайловича с приложением Уложения сокольничья пути.* М., 1856.
45. *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. М, 1991. Кн. 6.
46. *Kurbatow O.A.* Połonka 1660 – spojrzenie z Moskwy // Mówią Wieki. 2000. № 10.



© 2003 г. Б. В. НОСОВ

ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕКАТЕРИНЫ II В ОТНОШЕНИИ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ И ВОЕННЫЕ ПЛАНЫ РОССИИ В 1762–1763 ГОДЫ

Вопрос о действиях русских войск в Польше в 60-е годы XVIII в. так или иначе затрагивался всеми исследователями, писавшими о российско-польских отношениях этого времени. Однако в историографии отсутствуют специальные работы, посвященные данной проблеме, хотя она и имеет, по нашему мнению, самостоятельное значение в изучении польской политики русского правительства. Во-первых, военные меры были решающим средством русской политики в Речи Посполитой. Во-вторых, есть свидетельства об особом подходе военного руководства России, прежде всего Военной коллегии, к польским делам. На это указывает хотя бы секретный план З.Г. Чернышева 1763 г. Наконец, в-третьих, следует иметь в виду, что с 1762 по 1772 гг., за десятилетие, предшествовавшее первому разделу Польши, из четырех русских послов в Варшаве (Г. Кейзерлинга, Н.В. Репнина, М.Н. Волконского и К. Сальдерна), право командования войсками имели лишь Н.В. Репнин и М.Н. Волконский, бывшие не только дипломатами, но и генералами русской армии. В других случаях войска в Польше подчинялись своим командующим, назначенным Екатериной II по представлению Военной коллегии, и действовали во многом независимо от русского посольства в Варшаве.

Все это позволяет поставить вопрос об особой роли в польских делах русской армии и ее руководства. К тому же, следует учитывать, что меры военного характера, связанные с применением значительного количества войск и с привлечением больших людских и материальных ресурсов, позволяют нередко с большей достоверностью оценить содержание внешнеполитических планов Петербурга, нежели двусмысленные, а порой и противоречивые, официальные декларации, императорские манифесты и рескрипты, а также инструкции Н.И. Панина. Понимая, что в рамках небольшой статьи невозможно целиком осветить поставленную проблему, мы сосредоточим внимание на относительно коротком, но весьма важном периоде 1762–1763 гг., от вступления на престол Екатерины II и связанной с этим некоторой переориентацией русской внешней политики до кончины польского короля и саксонского курфюрста Августа III, открывшей последнее “бескорольевье” в Речи Посполитой.

Основные источники, использованные в статье, можно разделить на две группы. Первая включает распоряжения Екатерины II по Военной коллегии и доклады кол-

легии императрице, а также материалы работы Военной комиссии 1763–1764 гг. [1, 2]. В них содержатся сведения о численности, составе и оперативном управлении русской армией, а также о проведении военной реформы после выхода в 1762 г. России из Семилетней войны 1756–1763 гг. Имеющиеся в делах многочисленные приложения отражают состояние русских вооруженных сил в начале 60-х годов XVIII в. Вторая группа объединяет главным образом переписку Екатерины II и Н.И. Панина с русским послом в Варшаве Г. Кейзерлингом и лидерами “фамилии” – сторонниками России в Речи Посполитой – Станиславом Понятовским, а также Августом и Михаилом Чарторьскими. Она частично опубликована в [3. Т. 48], а также содержится в фондах Коллегии иностранных дел [4].

После дворцового переворота 1762 г. и вступления на престол Екатерины II в правящих кругах Петербурга развернулась борьба вокруг определения внешнеполитического курса страны. Сама Екатерина II не спешила заявить о своих намерениях, стремясь выяснить как расстановку сил при собственном дворе, так и перспективы для русской политики в Европе. Пробным шаром в этом отношении стала ее идея о российском посредничестве в окончании Семилетней войны, идея, молчаливо отвергнутая во всех европейских столицах.

В это время в Петербурге большинство сановников рассматривало в качестве главного направления будущей внешней политики борьбу с Османской Турцией и выступало в связи с этим за возобновление союзнических отношений с Австрией. Выразителем взглядов этой группировки являлся возвращенный из ссылки А.П. Бестужев-Рюмин, а решающие влияние имели Григорий и Алексей Орловы [5. С. 98–180]. Главными недостатками позиции сторонников Орловых и Бестужева были, во-первых, опасность подчинения русской политики интересам Габсбургов, как показал опыт Семилетней войны, и, во-вторых, слишком отдаленная перспектива успеха, в то время как Екатерина II нуждалась в возможно более быстрых и эффектных внешнеполитических достижениях.

Поэтому императрица сделала выбор в пользу второй придворной группировки, представленной Н.И. Паниным, З.Г. Чернышевым, Г. Кейзерлингом, Г.Н. Тепловым, и взяла курс на сближение с Пруссией, избрав Польшу в качестве объекта экспансии. На это указывает письмо Екатерины II С. Понятовскому от 13/2 августа 1762 г. В нем императрица излагала обстоятельства дворцового переворота в Петербурге. Открывалось же письмо словами: “Я отправляю немедленно графа Кейзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем, по кончине настоящего [короля], и в случае, если ему не удастся это по отношению к вам, я желаю, чтобы [королем] стал князь Адам” (А.К.Чарторьский. – *Б.Н.*). В заключение письма Екатерина давала понять, что желала бы сохранить его содержание в строгом секрете. “Правильная переписка, – замечала она, – была бы подвержена тысяче неудобств, а я должна соблюдать двадцать тысяч предосторожностей, и у меня нет времени писать опасные *billets-doux*” [6. С. 545–565]. Однако, вопреки нескольким нарочитым предостережениям новой императрицы, названное письмо сразу же стало известно при европейских дворах [3. Т. 46. С. 13, 17, 89–90, 230; 7] и было опубликовано во французских газетах [8. С. 143–145].

Таким образом, планы Екатерины II сделать стольника литовского С. Понятовского польским королем и поддержать группировку Чарторьских в Польше прозвучали в этом письме в качестве неофициальной внешнеполитической декларации русской императрицы.

В том же направлении действовал и Г. Кейзерлинг, когда, получив назначение послом в Польше, в октябре–ноябре 1762 г. по пути в Варшаву сделал остановку в Кенигсберге и установил связь с Фридрихом II, сообщив прусскому королю о желательности для Петербурга союза с Берлином. О выдвижении на первый план польского направления в русской внешней политике свидетельствовало также выступление Г. Конисского на коронации Екатерины II. Наконец, на рубеже 1762–1763 гг. происходит обострение русско-польских и русско-саксонских отношений из-за Кур-

ляндии в связи с восстановлением Э.И. Бирона на герцогском престоле. К этому же времени относится начало переписки Екатерины II и “фамилии” при посредничестве Г. Кейзерлинга. В ней, в частности, шла речь о подготовке в Смоленске 30-тысячного корпуса и о помощи оружием группировке Чарторьских в случае образования в Речи Посполитой конфедерации так называемых “друзей России”.

Право конфедерации было одной из важнейших привилегий польской шляхты. Возникшее в 70-е годы XVI в., после смерти короля Сигизмунда Августа, оно в дальнейшем стало нормой политической жизни шляхетской республики. В соответствии с этим правом отдельная группировка шляхты под предлогом защиты своих прав могла образовать особое объединение – конфедерацию и от ее имени присвоить себе функции верховной власти [9. Т. 1. S. 264–266], а также официально обратиться за поддержкой к иностранным государствам, к чему так или иначе прибегали все конфедерации в Речи Посполитой в XVIII в. [10].

В то самое время, когда Чарторьские вынашивали планы, опираясь на конфедерацию и при поддержке Петербурга, свержения с престола Августа III, прихода к власти и осуществления своей программы преобразований, Россией вблизи польских границ были развернуты военные приготовления, принявшие особый размах весной 1763 г. и по своим масштабам вышедшие далеко за рамки обещанной “фамилии” военной помощи. Об этом свидетельствует секретный доклад Военной коллегии о расположении полевой армии [2. Л. 7–12 об.] с приложенной к нему объяснительной запиской от 1 марта / 18 февраля 1763 г. [2. Л. 13–24 об.]. В записке говорилось: “Ежели нужда и обстоятельства побудили наступательную армию иметь противу Польши или Пруссии, то может к тому употребиться все дивизии: Рижская, Ревельская, Смоленская, часть Петербургской..., часть Московской..., гусарские, донские и чугуевские кавалерийские полки”. Наряду с Польшей и Пруссией в качестве вероятных противников, против которых планировались наступательные действия, назывались Швеция и Турция. Данные о силах, выделенных для наступательных операций, приведены в табл. 1, из которых следует, что в качестве главного противника рассматривалась Турция: на борьбу с ней выделялась половина имевшихся сил.

Таблица 1

Состав и численность полевой армии России в распределении по основным стратегически направлениям (февраль 1763 г.)¹

Направление	Западное (против Польши и Пруссии)		Северо-Западное (против Швеции)		Юго-Западное (против Турции)		Итого
	Кол-во полков	Кол-во людей	Кол-во полков	Кол-во людей	Кол-во полков	Кол-во людей	
Состав (полки) ²							
Пехотные	29	54694	18	33948	41 ³	77326	165968
Кавалерийские	14	11186	3	2397	18	14382	27965
Гусарские	4	4636	2	2318	8	9272	16226
Казачьи	10	5000	4	2000	10	5000	12000
Всего	57	75516	27	40663	77	105980	222159
%		34.0		18.3		47.7	100.0

¹ Данные пересчитаны по [2].

² Без учета сил полевой артиллерии.

³ 15 ландмилицких и 26 полевых полков.

Определившееся в течение 1763 г. сближение с Пруссией исключило возможность нового военного столкновения с Фридрихом II, поэтому силы, предназначенные к действиям на западном направлении, можно было целиком использовать против Польши, если ей окажут помощь Австрия, Саксония или Франция. При этом

Распределение сил русской армии по дивизиям на границах с Польшей в 1763–1764 гг.⁴

Дивизии	Пехота		Кавалерия		В том числе:				Всего человек
	полки	человек	полки	человек	гусары		казаки		
					полки	человек	полки	человек	
1-ая Лифляндская	8	16752	5	5126	1	1358	–	–	21878
2-ая Эстляндская	5	10470	2	1884	–	–	–	–	12354
3-ая Смоленская	6	12564	3	3242	1	1358	–	–	15806
7-ая Севская	4	8376	5	5710	–	–	2	1000	14086
8-ая Украинская	–	–	7	7010	1	1358	–	–	7010
Итого	23	48162	22	22972	3	4074	2	1000	71134

⁴ Без учета сил полевой артиллерии. Таблица составлена по ведомостям Военной коллегии 1763–1764 гг., опубликованным В. Лебедевым [11].

предполагалось привлечь дивизии, расквартированные вблизи российско-польской границы (см. табл. 2).

Указанные дивизии по своей общей численности практически покрывали силы, выделенные для операций на западном направлении, и могли быть объединены в три группировки: в Прибалтике, в районе Смоленска и на Украине. Так и поступила Военная коллегия, сосредоточив на рубеже 1762–1763 гг. корпус в Курляндии; к началу февраля 1763 г. – в Смоленске; а в мае 1763 г. – в районе Киева и Чернигова. Помимо сил названных дивизий, созданные корпуса получили усиление из состава Финляндской, Санкт-Петербургской и Московской дивизий, а также из донских и чугуевских казаков. Корпусам была придана полевая и полковая артиллерия, что означало их приведение в полную боевую готовность, так как в XVIII в. русская армия получала артиллерию непосредственно перед началом боевых действий. Состав корпусов приведен в табл. 3.

Приведенные в табл. 1–3 результаты расчетов численного состава войск не могут быть абсолютно точными. Так, в табл. 1 численный состав полков определен Военной коллегией по штатам 1762 г., а в табл. 2–3 – рассчитан на основе штатного

Таблица 3

Состав и силы корпусов русской армии, предназначенных для действий против Польши, февраль–май 1763 г.⁵

Курляндский корпус		Смоленский корпус		Украинский корпус		Всего человек	
полки	человек	полки	человек	полки	человек		
пехота	16	33504	12	25128	3	6282	64914
кавалерия	9	6710	12	10368	12	9952	27030
в т.ч.: гусары	–	–	2	2716	1	1358	4074
казаки	4	2000	4	2000	4	2000	6000
Итого		40214		35496		16234	91944
Артиллерия		число орудий		число орудий		всего	
полевая		43	33	14			90
полковая		64	48	28		140	
Итого		107	81	42		230	

⁵ Без учета личного состава полевой артиллерии. Данные пересчитаны по [1. Л. 81; 2. Л. 7–12 об.].

состава полков 1763–1764 г., когда русская армия проходила реформирование после Семилетней войны. Завершилась военная реформа только к 1767 г., когда впервые после окончания войны был объявлен новый рекрутский набор. В 1763–1764 гг. сокращенные штаты военного времени были доведены до полных, что проходило в разных частях не одновременно. А это влечет за собой расхождение данных по разным ведомостям. Например, по объяснительной записке 1763 г. пехотный полк насчитывал 1886 человек (штаты 1762 г.), по ведомостям 1764 г., опубликованным В. Лебедевым, – 2094 человек, то же число приводит и Д.Ф. Масловский [12. С. 5–49]. Численность кавалерийского полка была в 1763 г. увеличена с 799 до 942 человек в связи с заменой драгунских полков на карабинерные. Гусарские полки в 1762 г. насчитывали 1159 человек, в 1763 г. – 1358, а к 1767 г. сокращены до 1034 человека. Казачьи полки в 1763 г. при штатной норме в 500 человек имели фактические штаты 419–541 человек.

В приведенных расчетах за основу брались штаты: пехотного полка – 2094 человека, кавалерийского – 942, гусарского – 1358 человек. Максимально возможная ошибка по пехоте составляет 10%, по кавалерии – 14–15%. Следует также учитывать возможный фактический некомплект частей. Однако он не мог быть значительным, поскольку по приказам Военной коллегии для пограничных дивизий и боевых корпусов должны были выделяться полностью укомплектованные части.

Таким образом, в трех корпусах, образованных для действий в Польше, была сосредоточена треть русской армии (92 тыс. из 282 тыс. человек). Причем, если учитывать силы Московской и Лифляндской дивизий, за счет которых все три корпуса могли быть быстро усилены, то можно утверждать, что военная подготовка на границах Польши весной 1763 г. была проведена с размахом. Следует также отметить, что в трех корпусах было сосредоточено 59% регулярной конницы и три из четырех полевых гусарских полков (Сербский, Грузинский и Молдавский). Венгерский гусарский полк, входивший в состав Лифляндской дивизии, в мае 1763 г. был включен в отряд Н.И. Салтыкова и отправлен в Литву, еще 100 человек гусар из Слободского гусарского полка Московской дивизии были прикомандированы к смоленскому корпусу. По своему составу и вооружению гусарские полки были предназначены для борьбы с регулярной конницей противника. В состав конницы было включено также большинство из вновь сформированных карабинерных полков. Таким образом, по своему составу корпуса отличались большей маневренностью и были предназначены для боевых действий на большую глубину, т.е. практически для наступательных операций по всей территории Польши. Обращает на себя внимание и их мощное артиллерийское вооружение.

Армия, сосредоточенная к лету 1763 г. на границах Польши, по численности, снаряжению, боевой подготовке и опыту обладала огромным превосходством над вооруженными силами Польши, которые, согласно постановлению сейма 1717 г., не должны были превышать 18 тыс. человек, а фактически не достигали и этого уровня. Поэтому военные мероприятия России, очевидно, имели другие цели, помимо борьбы с коронными и литовскими войсками Речи Посполитой, и, разумеется, предназначались не только для обещанной помощи конфедерации “друзей России”. В качестве сравнения следует упомянуть, что даже для захвата восточных польских земель, предусмотренного планом З.Г. Чернышева, предполагалось использовать силы всего двух дивизий. Едва ли при планировании операций в Польше военное руководство в Петербурге видело главную опасность в возможном объявлении там посполитого рушения (ополчения шляхты).

Тогда остается признать только одно: войска были приготовлены на случай военного вмешательства Австрии, Франции или Турции. Другими словами, Россия была готова не отступить перед угрозой большой войны в Европе из-за Польши. Такая решимость и предпринятые соответствующие военные меры свидетельствовали, что ставка в “польской игре” Петербурга была намного выше, чем простое избрание нового короля или же установление политической гегемонии “фамилии” в Речи

Посполитой. Да и сама Екатерина II вполне осознавала разницу между своими интересами и целями Чарторыхских. Однако до поры до времени эти интересы совпадали, а имевшиеся расхождения между ними тщательно скрывались в Петербурге.

Внешняя неопределенность целей русской политики в Польше в 1763 г. объяснялась тремя причинами. Во-первых, в Петербурге осознавали, что приход к власти в Польше “своего короля” сулит России значительные политические выгоды, достижение которых стоило риска втягивания страны в большую европейскую войну. Вместе с тем в правящих кругах России отсутствовало ясное представление, каких именно результатов следовало ожидать вследствие предпринимаемых усилий. Во-вторых, не было единства в подходе к польским проблемам, но развернулась борьба за “прусскую” или “австрийскую” ориентацию внешней политики. Проявилось стремление выдвинуть на первый план черноморское направление экспансии, безусловно, имевшее для России самостоятельное значение. В-третьих, на берегах Невы не забывали о необходимости скрывать свои истинные намерения как от поляков, так и от других европейских стран, чтобы усыпить их бдительность и не подтолкнуть к ответным действиям. По отношению же к “фамилии” в Петербурге словом и делом постоянно подчеркивали, что твердо намерены выполнить согласованную программу и поддерживать “друзей России”, оказывая давление на Варшаву и Дрезден. Однако сами масштабы военных приготовлений России на западных границах империи, позволяют сделать вывод, что активизация польской политики Екатерины II имела целью решительно изменить в свою пользу соотношение сил между великими державами в Европе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Российский государственный архив древних актов. Ф. 20 Военные дела. Д. 50 Переписка по Военной коллегии с 1726 по 1796 гг. (в 9 частях). Ч. 5 Материалы 1762–1763 гг.
2. Российский государственный архив древних актов. Ф. 20 Военные дела. Д. 242. О расположении полевой армии в 1763 г.
3. Сборник Русского императорского исторического общества. СПб, 1885. Т. 46; Т. 48. Политическая переписка Екатерины II 1762–1763 гг.
4. Архив внешней политики Российской империи. Ф. 79 Сношения с Польшей.
5. Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Сочинения. М., 1994. Кн. XIII. Т. 25.
6. Сочинения Екатерины II / Под ред. А.Н. Пыпина. СПб., 1907. Т. 12. Ч. II. Письма императрицы Екатерины II к графу Станиславу Августу Понятовскому 1762–1763 гг.
7. Reichsarchiv Kopenhagen. TKUA-Polen. A. III. 43 1762–1763 Gesandtskabsrelationer... № 192; 200; 202.
8. Шебальский П.К. Екатерина II как писательница // Заря. 1869. № 3.
9. *Kutrzeba St.* Historja Ustroju Polski w zarysie. Lwów; Warszawa, 1925.
10. *Stanek W.* Konfederacje generalne koronne z XVIII wieku. Toruń, 1991.
11. Лебедев В. Русская армия в начале царствования императрицы Екатерины II. Материалы для русской военной истории. М., 1899.
12. Масловский Д.Ф. Русская армия Екатерины Великой. // Военный сборник. 1892. № 5.



© 2003 г. В. И. КОСИК

РУССКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ЭМИГРАЦИИ

За время революции и Гражданской войны за пределы “красной” России были “выброшены” ее “белые” дети: одни, зачастую будучи участниками тогдашних сражений, знали “за что и почему” они оказались на чужбине, другие, в силу своего возраста еще не были в состоянии понять значение наступивших перемен.

Судьба молодежи волновала практически всю эмиграцию, видевшую в “детях” строителей нового Отечества. Еще в разгаре Гражданской войны, в мае 1920 г., Константинопольское совещание представителей правительственных и общественных организаций за рубежом под председательством генерала А.С. Лукомского возложило обязанности по организации школьного образования молодежи на Всероссийский союз городов, деятельность которого финансировалась правительством П.Н. Врангеля. Помощь оказывал и Американский Красный Крест. В дальнейшем свою лепту вносили другие организации, а также правительства стран российского рассеяния. Так, Чехословакия приняла на полное содержание до 4 тыс. русских студентов и около 100 профессоров. Королевство сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. – Королевство Югославия) – около 1300 студентов. Франция ассигновала на оплату лекций русским профессорам, на содержание русской средней школы и студентов только в 1922 г. 400 тыс. франков [1. Л. 1–2]. Все это, конечно, не могло не восприниматься с благодарностью, к которой, однако, примешивалась известная доля сарказма: дескать, союзники могли бы сделать и больше, учитывая отошедшие к ним военные трофеи в форме части золотого запаса России, а также кораблей военного и гражданского российских флотов.

В новых условиях первоочередная задача учащихся, тех, кто выжил в Галлиполи, куда союзники выбросили погибать русских изгнанников, состояла в том, чтобы дать своим подопечным образование, необходимое в бытии вдали от Родины и для жизни в будущей небольшевистской России. Сами преподаватели были прямо заинтересованы в создании дающих им заработок учебных заведений. При этом складывалась весьма интересная ситуация, когда “отцы”, “проигравшие” уже Россию, учили молодежь любви к Родине.

Говоря о русской высшей школе в эмиграции, исследователи дружно вспоминают известную “русскую акцию”, начатую властями Чехословакии и продолженную в других государствах. Одновременно они как-то стыдливо забывают, что во многом демократы из ЧСР только “делились” награбленным. Как вспоминал профессор

Косик Виктор Иванович – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Н.Н. Алексеев, золото, захваченное чехословацкими легионерами в 1918 г. в России, “послужило фондом для образования в Праге чешского Легио-банка. Бенеш, сам бывший легионер и большой русофил, и президент Масарик чувствовали, будучи людьми в высшей степени порядочными и честными, некоторую неловкость создавшего положения и считали, что у них есть моральная обязанность по отношению к русским как-то возместить свой русский долг” [2. С. 311]. Здесь стоит только задать себе вопрос: а если бы золота не имелось? Тем не менее оно было и в 1923 г. “на средства чехословацкого правительства” в Праге создается известный Педагогический институт им. Я.А. Коменского по подготовке преподавательских кадров для будущей России. Однако через три года он был закрыт по причинам экономического и политического характера. Первые были связаны с “большими” затратами на оплату профессоров и содержание студентов. Вторые, в частности, были обусловлены советскими протестами “против подкармливания белогвардейцев” [2. С. 69]. В сущности, чехословацкие власти, “поделившись” русским золотом, в этом случае сочли свою миссию выполненной.

И тем не менее, оно сыграло свою роль. Так, широкую известность снискал в Праге Юридический факультет. На его открытия в 1922 г. П.Н. Новгородцев подчеркнул: “наша цель – ни курсов революции, ни курсов контрреволюции” [2. С. 66]. Как и все другие высшие учебные заведения, он должен был выпускать специалистов для будущей деятельности в России и одновременно предоставлять работу профессорам-эмигрантам. В число преподавателей входил о. Сергей Булгаков, будущий профессор Свято-Сергиевского богословского института, автор “софианского” богословия. Там читали лекции такие профессора, как А.А. Чупров, Н.Н. Алексеев, Н.С. Тимашев. Однако “не успев расцвести, факультет начал вянуть” по тем же причинам, что были приведены выше. Тем не менее он просуществовал гораздо более длительное время. За 1922–1929 гг. получили диплом 384 студента. Факультет выпустил в науку П.Н. Савицкого, теоретика евразийства, М.Е. Фридиева, знатока истории русского и советского права, М.В. Шахматова, исследователя истории власти средневековой России, М.А. Циммермана, специалиста по международному праву, О.О. Маркова, историка средневекового права [2. С. 67].

Во многих странах русское учительство и студенчество принимались в государственные учебные заведения. Весомо была представлена российская профессура на болгарской земле. В 1921–1939 гг. в Софийском университете в разное время трудились 35 профессоров и преподавателей, в основном на медицинском, историко-филологическом, юридическом, богословском факультетах. Так, болгарские и русские студенты могли слушать лекции по археологии и византийской истории Н.П. Кондакова. На медицинском факультете большинство научных дисциплин преподавалось русскими профессорами. Из русских ученых, которые вели занятия на историческом факультете, можно упомянуть и П.М. Бицилли. На филологическом факультете читали лекции теоретик евразийства князь Н.С. Трубецкой, литературовед и философ К.В. Мочульский, на богословском факультете – Н.Н. Глубоковский, М.Е. Поснов, А.П. Рождественский, Г.И. Шавельский.

Для граничившего с Болгарией Королевства сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС) эмиграция была прежде всего “профессорской”. Еще живут те, кого учили русские специалисты, память о которых пока не умерла. Сербы хорошо помнили, что на Балканах рядом с ними сражались десятки тысяч русских солдат и офицеров. За время войны Россия предоставила Сербии кредиты на сумму свыше 100 млн. рублей золотом [3. С. 147–153]. Большое значение для жизни русских в той же Сербии имел Русский совет по культуре, в обязанности которого входила забота о нуждах просветительских и научных учреждений. Сравнительно быстро решались вопросы трудоустройства преподавателей.

С Белградским университетом, в котором училась и русская молодежь, связаны имена многих русских ученых, трудившихся на преподавательском и научном поприщах. Судьба многих наставников напоминала авантюрный роман. Так, Григорий Ор-

лов, сын генерала, увлекавшийся правом и археологией, он в роковом для самодержавной России 1917 г. поддерживает революцию и по рекомендации С. Орджоникидзе назначается министром статистики в Дагестанской республике. Угроза “чистки” с неременным расстрелом вынудила его бежать вначале в Турцию, затем в Болгарию. В 1922 г. он прибыл в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Окончил философский факультет университета в Белграде. Занимался преподавательской деятельностью в глухих провинциальных городах. Читал лекции по русской истории на кафедре восточных и западных славянских языков Белградского университета [4. С. 242–243].

Широкое распространение получила практика привлечения в духовные учебные заведения преподавателей из России, передававших свои опыт, знания, искусство сербской и русской молодежи, решившей посвятить себя пастырству. Тут следует вспомнить богословский факультет Белградского университета, где преподавали известные богословы А.П. Доброклонский, Н.Н. Глубоковский, о. Феодор Титов, который еще в конце XIX в. издал замечательную книгу о сербском митрополите Михаиле. В Битольской семинарии в числе наставников был о. Иоанн (Максимович), будущий владыка Шанхайский, в конце XX в. причисленный к лику святых.

Немалый вклад в дело просвещения русской молодежи внесли сотни учителей, преподававших в гимназиях, училищах, кадетских корпусах, женских институтах и т.д. При этом хочу подчеркнуть, что в первое время учебные заведения для многих служили не школой знаний, а местом пропитания. “Константинопольский Русский лицей, – писал Вадим Андреев, – был единственным в мире средним учебным заведением, где за школьными партами сидели: полковник, которому приходилось брить наголо седеющую голову, ... помощник присяжного поверенного, инженер путей сообщения, капитан дореволюционного производства и целый выводок поручиков и подпоручиков времен гражданской войны. В четвертом классе сидели двадцатилетние казаки, во втором – калмыки; на их безусых лицах время не оставляло следов. Все эти ученики попали в лицей главным образом потому, что лицеистов кормили. Правда, встречались иногда и настоящие ученики – те, кому Гражданская война помешала окончить среднее образование” [5. С. 198].

Однако далеко не во всех странах власти стремились оказать действенную помощь беженцам из России. Где-то было равнодушие властей, где-то политика, явно враждебная к русским. Так, когда в 1918 г. Румыния захватила Бессарабию, русские учителя, отказавшиеся присягнуть на верность королю, были тотчас выброшены на улицу. В школы пришли фельдфебели и унтер-офицеры: в Кишиневе “лектором на летних курсах для учителей состоял малограмотный лакей из Ясс” [6. С. 212]. В 1920 г. русская средняя правительственная школа была уничтожена, а в 1923 г. завершена румынизация начальной – земской и городской – школы, хотя королевский декрет от 17 августа 1918 г. провозглашал, что “каждая национальность, проживающая в Бессарабии, имеет право обучать своих детей на родном языке”.

Однако в балканских славянских странах ситуация была иной: их правительства немало способствовали сохранению русской культуры вдали от Родины, где историки писали заново.

На Балканах, в Болгарии, в начале 1922 г. распахнули двери такие гимназии, как Шуменская, Пещерская, Пловдивская. Память сохранилась также о Софийской, Варненской, Галлиполийской гимназиях. Однако фраза “распахнули двери” не дает все же представления о работе этих учебных заведений. Например, в городке Дольна Ореховица “общезития были в сараях, классы – в общинском управлении, в дюкяне – сиречь, кабачке, пропахшем сливовой ракией да местным вином, – учительская” [7. С. 163]. Галлиполийская гимназия была основана «вскоре после того как несколько десятков тысяч русских белых воинов армии генерала Врангеля, под нажимом во много раз превосходящих красных, вынуждены были покинуть последнюю часть Русской земли, Крымский полуостров, чтобы по милости предателей союзников – французов и англичан – через Константинополь иметь возможность вы-

сидеться с кораблей всего черноморского флота на “голое поле” полуострова Галлиполи, в Турции. Основание гимназии в тех условиях голода, холода, болезней, полной неизвестности будущего... было одним из чудес наряду с рядом других, которые заслужили одно общее название “Чуда генерала Кутепова»» [7. С. 165–166]. Начало работы гимназий пришлось на то сложное время, когда мощь врангелевцев внушала определенные опасения властям. Так, в июле 1922 г. Пловдивская русская гимназия, которая получала деньги от штаба первого армейского корпуса генерала А.П. Кутепова, осталась без средств из-за ареста, наложенного на деньги врангелевцев. В начале 1923 г. обсуждался даже вариант о перемещении русских средних учебных заведений из Болгарии в другие страны [8. С. 47]. Ситуация после переворота 9 июня 1923 г., в результате которого к власти пришли националисты, резко переменялась: 14 августа Совет министров принял решение об ежемесячных отчислениях по 500 тыс. левов с формулировкой: на “помощь русским детям в Болгарии” [8. С. 48]. Однако в 1931 г., вследствие общего экономического кризиса, субсидирование русского учебного дела сократилось, составив 80 тыс. левов [8. С. 60]. И тем не менее школы продолжали работать, хотя уже в других, более тяжелых условиях.

Достаточно большой по тому времени была сеть русских учебных заведений в Королевстве СХС, на территории которого к середине 1925 г. действовало 17 школ с 2820 воспитанниками. Причем восемь школ, в которых учились 2240 детей, содержались полностью на государственный счет; остальные получали субсидии от югославских властей [4. С. 43–44]. Педагогический персонал насчитывал примерно 300 человек [4. С. 47]. В октябре 1923 г. все русские школы были подчинены в педагогическом отношении (программы, персонал) Министерству народного просвещения.

В наиболее благоприятном положении по многим критериям была I Русско-Сербская гимназия в Белграде, открывшаяся в октябре 1920 г. Перед учителями стояла сложная задача: не только дать некую сумму знаний, но и воспитать детей в православии, любви к Родине своих предков, к славянству. Здесь, как и везде, работа шла под девизом – “истинное просвещение соединяет умственное образование с нравственным”, стремились не допускать разрыва между национальным воспитанием и воспитанием в православном духе. Уже название этого учебного заведения свидетельствовало о стремлении ее основателей (с русской стороны это прежде всего профессиональный педагог и славянский деятель Владимир Дмитриевич Плетнев, с сербской – Александр Белич, будущий президент Сербской академии наук и искусств) сделать все, чтобы гимназические выпускники, оставаясь русскими, сохранили “и понимание, и знание, и любовь к стране, которая в тяжелые годы проявила себя истинным, бескорыстным другом... Эти воспитанники должны были быть залогом будущей тесной связи между двумя народами” [9. С. 17].

В 1929 г. гимназия была разделена на мужскую и женскую. Спустя четыре года они разместились в только что отстроенном Доме русской культуры имени императора Николая II с великолепным концертно-театральным залом.

На югославской земле действовали и другие учебные заведения. В марте 1920 г. в г. Новый Бечей открылся Харьковский институт императрицы Марии Федоровны, начальницей которого являлась М.А. Неклюдова. Институт завершили около 400 воспитанниц [10. С. 138]. Тогда же прибыл из Новороссийска и обосновался в г. Белая Церковь Донской Мариинский институт. Начальница института, в котором было 200 девиц, являлась Н.В. Духонина. В ноябре 1921 г. в г. Великая Кикинда была учреждена Первая Русско-Сербская девичья гимназия или институт на 180 воспитанниц и с интернатом на 60 девиц. Основательницей и его начальницей стала Н.К. Эрдели, покровительницей – королева Мария, жена короля Александра I Карагеоргиевича.

Во всех этих учебных заведениях девицы воспитывались на богатейшей культуре и истории России, в вере в ее скорое возрождение и великое будущее, а также в готовности служить Родине “всеми силами души и сердца подлинно русской женщины” [10. С. 138]. В начале 1930-х годов для улучшения материального положения Харь-

ковский и Донской институты были объединены, получив новое название Русский девичий институт имени императрицы Марии Феодоровны, который был расформирован в военном 1943 г.

Вместе с белыми армиями покидали Родину и кадетские корпуса, нашедшие в своем большинстве пристанище в Королевстве СХС: Крымский, из кадетов Петровско-Полтавского и Владимирского корпусов, разместился в г. Белая Церковь, Первый Русский – из остатков корпусов Киевского, Полтавского, Одесского – в г. Сараево, Второй Донской – из кадетов Новочеркасского и 200 воспитанников Первого Сибирского и частично Хабаровского корпусов, прибывших в январе 1925 г. из Шанхая, – в г. Горажде.

Новая жизнь на новом месте была непростой: поначалу не было ни учебников, ни тетрадей, хватало сложностей с одеждой и обувью. Налицо были только кадеты – остальное отсутствовало. Сам состав воспитанников отличался пестротой: многие успели повоевать, имели награды, офицерские чины. Свою роль в формировании атмосферы в корпусах играла и разница в возрасте – учились и пятнадцатилетние юноши, и двадцатипятилетние мужчины – и, соответственно, проглядывали различия во взглядах на жизнь. Все это порождало конфликтные ситуации, жестокие “игры”, заканчивавшиеся самоубийством. Так, в Крымском корпусе всю власть среди кадетов захватили старшие воспитанники, творившие “самочинный суд” и “кулачную расправу” над младшими. Был принят ряд мер, но ситуацию не удалось исправить, и корпус в 1929 г. пришлось расформировать.

И тем не менее воспитатели делали все, чтобы заложить в душах кадетов основы долга, чести, верности России, ее Церкви. Так, для размещенных с 1920 г. в Сараево воспитанников Русского имени Великого князя Константина Константиновича кадетского корпуса было глубоко символично то, что первым православным храмом для них стала церковь, в строительстве которой (1863) участвовала и Россия вместе с ее императором Александром II Освободителем. Многие из кадетов, окончив корпуса, уехав в далекие экзотические страны, не переставали считать себя русскими, а Россию – своей Родиной.

Из военных учебных заведений нужно назвать и Николаевское кавалерийское училище, образованное еще в Галлиполи. В декабре 1921 г. оно обосновалось в Белой Церкви. До 1923 г., когда училище расформировали, было произведено три выпуска общей численностью свыше 350 человек.

В соседней Болгарии насчитывалось семь военных училищ: Константиновское – 330 человек, Александровское – 365, Корниловское – 294, Сергиевское – 447, Николаевское инженерное – 396, Атаманское – 382, Кубанско-Алексеевское – 761 человек [8. С. 72].

Особого разговора требует тема любви к Родине, русского патриотизма, воспитания детей в русском духе. Следует подчеркнуть, что сами изгнанники, не стремившиеся “раствориться” в других государствах, никогда не забывали, что они русские. В жарких политических диспутах о родине, ее судьбе, о Сталине, о Гитлере все чаще звучали слова: “Режимы приходят и уходят, а Россия остается”. В эмиграции родители старались воспитать детей отнюдь не “иванами, не помятшими родства”, а людьми, которым, может быть, судьба предназначила стать строителями новой России, без коммунистов. Этому способствовала и сама жизнь беженцев, старавшихся и в изгнании не растерять русский быт и привычный уклад. «Вся наша частная жизнь, – писал в своих воспоминаниях А.А. Заварин¹, – проходила, главным образом, среди русских... Были организации русских скаутов и русских соколов... Вспоминается также, как детский хор пел: “А ступенька да ступенька будет лесенка, // А словечко да словечко будет песенка»» [11. С. 310]. Детям отдавали все, оставляя себе “горький

¹О нем см. вступительную статью В.И. Косика к публикации: *Заварин А.А.* Страницы из воспоминаний // *Славяноведение.* 2003. № 4.

яд сожаленья”: “Наша юность промчалась в годы зла и насилия. // Нам в былом нет отрады, впереди утешенья” [11. С. 321].

Обычно, когда пишут о русской молодежи в странах русского рассеяния, например в той же Югославии, стараются в основном сконцентрировать внимание на воспитании русскими “русского духа” в молодежи, особенно в той, которая уже родилась вне пределов России. При этом зачастую за рамками исследования остается тема жизни, быта русских детей в провинции. Благодаря воспоминаниям А.А. Заварина этот пробыл частью восполнен. Он достаточно откровенно пишет следующие нелицеприятные строки: «В школе я все-таки выделялся из-за моего русского происхождения. Другие дети меня не называли по имени – “Алексей”, а всегда звали по национальности – “Русский”. Я никогда не отрекался от своей русской национальности, но такое отношение меня как-то лишало индивидуальности как человека... В гимназии я, так же как и в основной школе, оставался “гадким утенком” и приходилось выслушивать всякие шутки или обидные замечания по поводу моей русской национальности...

Преподаватель французского языка, по прозвищу Фуйта, меня спрашивал: “Французский не учишь, сербский не знаешь, русский забудешь, так что когда вернешься в матушку-Россию, на каком языке будешь говорить?” Весь класс смеется и смотрит на меня. Конечно, это шутка. Ничего страшного нет. Но все-таки это как-то меня выделяло. В душе слагалось чувство, что мы здесь чужие.

Все эти отношения, конечно, не были русофобией. К русским как нации сербы относились хорошо. Русских называли “брача Руси”, т.е. “братья русские”, а Россию – “майка Русия”, т.е. “мать Россия”. Вообще у сербов было большое сознание общеславянского происхождения. Но все же приходилось себя чувствовать чужим. Можешь быть близким, даже любимым гостем, но все же чужим.

Конечно, я с братом, будучи гражданами Югославии, не думали и не хотели менять свою русскую национальность. Да вообще, возможно ли менять национальность? Каким Вы родились – таким Вы родились. Национальность это Ваше качество, Ваше наследство на всю жизнь...

Россия всегда играла важную роль в моем самосознании. Началось это еще в самом раннем возрасте. Как появилось это чувство – мне не совсем понятно. В русскую школу я никогда не ходил. Дома у нас не было никакой систематической доктрины или конкретных политических идей. Нам читали много русских книг, и мы слушали много разговоров про Россию. Мы с братом были довольно дикими и ни в каких общественных организациях, как “Русские соколы” или “Русские скауты”, не участвовали. Друзей среди русской молодежи у нас не было. Так что чувство к России было свое, личное, не искусственно насажденное, а более органическое, более интимное.

Как я уже говорил, Россия всегда жила в моей душе. Был ли я еще дошкольным мальчиком, или в сербской школе, в рабочих лагерях в Германии, под бомбардировками в Берлине, или в тюрьме в Загребе, в Хорватии, в беженских ли лагерях, или на Корейском фронте в американской армии, в военном лазарете, или в Берклейском университете, читал ли я научный доклад в Вашингтоне, или отдыхал около Тихого океана в Мексике – Россия всегда была со мной...” [11. С. 331, 340].

Конечно, чувство Родины было у каждого. При этом многие полагали, что их прямой долг делать все от них зависящее для “спасения Отечества” от “поработителей-большевиков”. И если одни ограничивались “декламациями”, “сопротивлением в уме”, делая ставку на эволюцию режима или на революцию, даже признавая советскую власть, то другие – готовились к борьбе за национальные идеалы в рядах таких военно-спортивных патриотических объединениях, как “Русские соколы”, “Всероссийское Петровское движение”, “Национальная организация русских разведчиков”. (Были и третьи: те, кто принимал строительство “новых небес”, а все ужасы, творимые в СССР, считал неправдой уже по той причине, что они были слишком неправдоподобны, чтобы являться правдивыми свидетельствами о жизни народа.) Так, “в лагерном сборе, организованном Краевым союзом в Югославии в июле 1939 г. ... за

28 дней сокола в количестве 50 братьев и подростков прошли теоретический и практический курс по организации вооруженных сил, тактике, топографии, стрелковому делу, охранению, разведке, установке связи, решению тактических заданий, боевой подготовке, маскировке” [12. С. 10].

К началу Второй мировой войны в “эмигрантском архипелаге” насчитывалось 75 сокольских обществ общей численностью примерно в 5 700 человек. Большинство обществ (32) действовало в монархической Югославии [12. С. 9]. Воспитание у молодежи любви к “исторической России”, теснейшим образом связанное с “органическим антикоммунизмом”, было характерно для занимавших первое место по численности среди молодежных организаций членов “Национальной организации русских разведчиков”. Одна из наиболее мощных организаций ее находилась в Болгарии [12. С. 46]. Многие из “разведчиков” и “соколов” сражались с титовскими партизанами в Русском охранном корпусе. Участники “Всероссийского Петровского движения”, созданного в Болгарии в июле 1941 г. членами “Национальной организации русских разведчиков” [12. С. 50], видели в Гитлере прежде всего борца с коммунизмом, поработившем Россию. Поэтому не удивительно, что они “призывали всячески содействовать германским властям как на оккупированных территориях России, так и в эмиграции. Многие “петровцы” терпеливо ждали от германского руководства предложений принять участие в обустройстве новой России [...] Однако силы Петровского движения так и не были востребованы. Лишь единицам удалось пробраться в Россию и вести свою политическую работу” [12. С. 50, 52–53].

После Второй мировой войны, победа в которой возвысила авторитет, хотя и советской, но все же России, многие из русской молодежи возвращались на Родину, но было велико и число тех, которые выбирали “свободный мир”, не веря коммунистической пропаганде. И чрезвычайно трудно рассуждать о правоте того или иного выбора. Для вернувшихся Россия зачастую представляла в роли и образе конвойного. И все же чувство Родины, судя по многим мемуарам, было сильнее. Вера и терпение побеждали горечь отчаяния. Третьи, “попробовав” советскую жизнь, старались вернуться в прежние страны “русского рассеяния”. Здесь можно вспомнить трудную судьбу упоминавшегося П.Н. Савицкого, который после лагеря из СССР вернулся в Чехословакию, где окончил свои дни. И тем не менее все они в своей массе продолжали и продолжают считать себя русскими, стараясь сберечь Россию в памяти своих уже внуков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архив внешней политики Российской империи. Ф. 166. Миссия в Белграде. Оп. 509/3. Д. 5.
2. *Пашуто В.Т.* Русские историки-эмигранты в Европе. М., 1992.
3. *Писарев Ю.А.* Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914–1915 гг. М., 1990.
4. Руска емиграција у српској култури XX века: Зборник радова. Београд, 1994. Т. I.
5. *Андреев В.* История одного путешествия. М., 1974.
6. Русский учитель в эмиграции. Прага. 1926.
7. *Жуков Р.* Русские средне-учебные заведения в Болгарии в период первых лет эмиграции – от 1921 г. по 1928 г. // Русское возрождение (Нью-Йорк; Москва; Париж). 1982. № 20.
8. Бялата емиграция в България. Материали от научна конференция София, 23 и 24 септември 1999 г. София, 2001.
9. I Русско-Сербская гимназия. Памятка. Белград 1920–1944. Нью-Йорк; Вашингтон; Сан Франциско; Каракас; Буэнос Айрес, 1986.
10. *Кадесников Н.З.* Краткий очерк русской истории XX века. Нью-Йорк, 1967.
11. *Заварин А.А.* Сербский период // Славянский альманах. 2002. М., 2003.
12. *Окорочков А.В.* Молодежные организации русской эмиграции (1920–1945 гг.) М., 2000.



© 2003 г. И. САВИЦКИЙ

СТАНОВЛЕНИЕ ПАРИЖА КАК СТОЛИЦЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Ответить на вопрос, почему Париж стал столицей послереволюционной русской эмиграции, и просто, и сложно одновременно.

Просто – потому что Париж был “столицей мира”, а столицы всегда привлекают. Культурной столицей европейского мира он себя считал еще со времен Средневековья, благодаря парижскому университету, признан ею Европой в XVIII в., когда французский язык стал языком дипломатии, дворов, аристократии, когда немка на русском престоле по-французски переписывалась с императором Священной римской империи, а Французская революция начала распространять идеи суверенной нации и прав человека и гражданина. Но в 1919 г. Париж стал и местом, где победители в Первой мировой войне, казалось, решают судьбы мира и, в частности, трех рухнувших империй: Германской, Австро-Венгерской и Российской. И первой среди победителей была Франция во главе с “тигром” Клемансо. Достаточно вспомнить, как описывает свои переживания при прибытии в Марсель М. Вишняк.

Но этого было все же недостаточно. Парижу отдавали предпочтение при прочих равных условиях, но условия в бурные межвоенные годы резко менялись. Положение Парижа в Зарубежной России, мне кажется, определялось тем, насколько политика Франции соответствовала менявшимся непосредственным целям эмиграции и насколько Париж являлся местом, где можно было эффективно трудиться для их достижения. А сами цели изменялись в зависимости от развития событий в России и международной обстановки. Поэтому для понимания эмиграции следует, на мой взгляд, проследить этапы становления Парижа как столицы эмиграции.

С этой точки зрения Франция в том же 1919 г. начала многим казаться неблагодарной союзницей и даже предательницей. Уже открытие Парижской мирной конференции в январе, когда в речах Клемансо и Пишона Россия была забыта, а представители антибольшевистских сил не были признаны представителями России, как и сами большевики¹, нанесло тяжелый удар сторонникам союзнической ориентации. Затем последовала эвакуация Одессы в апреле, а дальше хуже – несвоевременные поставки оружия и боеприпасов белому движению, выдача Колчака чехами, но

Савицкий Иван – историк (Прага).

¹ К. Крамарж, бывший главой чехословацкой делегации на Парижской мирной конференции, писал Т.Г. Масарику уже 23 января 1919 г., что русские говорят ему: “Если так должно быть, то мы сойдемся с немцами” [1. С. 208].

под французским командованием², наконец, третирование беженцев в Константинополе и враждебное и недостойное отношение к эвакуированной Русской Армии Врангеля³.

У эмиграции сложилось двойственное отношение к Франции, отношение притяжения–отталкивания. Поэтому мне кажутся преувеличенными представления о некотором “автоматизме” превращения Парижа в столицу послереволюционной эмиграции в момент, когда новые эмигранты уселись на еще теплые после большевиков стулья парижских кафе. Понять, почему Париж стал бесспорной столицей эмиграции, можно только проследив это становление как таковое.

По-моему, можно различить три этапа этого становления:

В 1918–1920 гг. еще идет Гражданская война на территории России, и белые армии остро нуждаются в материальной помощи и моральной поддержке. Эмигранты стремятся в Париж как “естественную” столицу. Прежде всего, он, как сказано, “столица мира”, затем город, о котором многие мечтали еще до войны, город, в котором говорят на понятном для многих языке, город доблестных союзников, которые – единственные – признали правительство Врангеля de facto, что заставляет на время позабыть о прежних обидах и предательствах, в кавычках и без. Но тем тяжелее отзывается поворот во французской политике после эвакуации Крыма.

1921–1924 гг. – разочарование во Франции из-за ее политики расформирования Русской Армии и отношения к беженцам как в Константинополе, так и в самой Франции. А. Ветлугин в “Руле” пишет об “агонии русского Парижа” и утверждает, что ввиду неудачи дипломатических контактов с влиятельными политическими кругами Франции и провала коммерческих начинаний все бегут из Парижа, “за последние два месяца русская колония уменьшилась, по крайней мере, на 40 процентов” [3. С. 2–3]. Сменевеховец Ветлугин, естественно, преувеличивал. Но обеспокоена разочарованием во Франции и хорошо информированная Прага. В секретной записке, направленной французскому представителю на конференции Комиссии Нансена Монне, чехословацкий представитель пишет: “La France, qui a dépensé pour les Réfugiés Russes des sommes énormes a cessé de continuer cet effort pour ainsi dire en dernière heure, se mettant en danger que les fruits de tous ses sacrifices seront récoltés par un autre, probablement par l’Allemagne”⁴.

И действительно, побежденный Берлин вдруг выдвигается на роль эмигрантской столицы. В Германии оказывается несравнимо больше связей для самых разных групп от (для эмиграции) крайне левой социал-демократии, меньшевиков, поступающих, можно сказать, на “иждивение” немецкой социал-демократии, до крайне правой, которая в значительной степени организационно и финансово обеспечивает монархический съезд в Бад Рейхенгалле. Здесь больше интереса к России и ее пониманию, в значительной степени благодаря русско-еврейской и немецко-русской

² “Особенно странно “совпадение” мнения некоторых кадетов с мнением французской дипломатии, проигравшей свою ставку на Врангеля и теперь отбирающей у нищих и раздетых их последнее достояние, дипломатии, в свое время провалившейся с Савинковым, оскандалившейся с Энно на Украине, с Д. Ансельмом и Фрайденбергом в Одессе, опозорившей себя бегством из Крыма в 19 году и замолченным поведением генерала Жанена в Иркутске”, - восклицал 27 мая 1921 г. Н.И. Астров на заседании членов ЦК партии кадетов, конечно, в Париже. Это довольно типичный набор претензий к Франции [2. С. 403].

³ Факты, а главное, настроения “разрыва” прекрасно отражены в книге В.Х. Даватца и Н.Н. Львова. “Русская армия на чужбине” (Белград, 1923). Она была сразу переведена на немецкий, но, естественно, не на французский язык.

⁴ “Франция, которая потратила на русских беженцев громадные суммы, прекратила эти усилия, так сказать, в последнюю минуту, создав тем самым угрозу, что плодами ее жертв воспользуется кто-нибудь другой, вероятно Германия.” Неподписанная копия записки, датированной 28 января 1922 г. и помеченной “Строго секретно”, хранится в [4].

прослойке⁵; здесь больше чисто технических возможностей издания на русском языке (см.: [6]), и с русского значительно больше переводят на немецкий язык, чем на французский, и здесь, на время, очень дешево жить для всякого, у кого есть почти любая валюта или золото. Но мне кажется, что даже это последнее – не главное, сколь ни важна дешевизна жизни для нищих эмигрантов.

Но основное, думается, в том, что с окончанием борьбы на “белых фронтах” приходится искать иных путей борьбы с большевистской властью. Эсеры торжествуют: их лозунги – “ни Ленин, ни Колчак–Деникин”, ориентация на “третью силу”, на “внутреннюю борьбу” оказываются правильными. Доказательством тому – Кронштадское восстание, введение нэпа в “Совдепии”, в эмиграции – “новая тактика” Милюкова. Другие идут еще дальше и надеются на внутреннее перерождение большевистского режима, возникает сменовеховство. Эти новые подходы требуют близости к России, географической и в каком-то смысле идейной. Но Франция отгорожена от революционной России почти также, как Королевство СХС, будущая Югославия, а в Германии идут переговоры об обмене военнопленными, они оттуда уезжают в Россию, туда беспрепятственно поступают советские издания, с начала нэпа сюда устремляются нэпманы, с Раппало – большевики и “советские”, не знающие, возвращаться или нет. Сюда большевистская власть высылает неугодных ей. В Берлине как бы размывается на два года грань между эмиграцией и Россией.

В результате здесь сосредоточивается интеллектуальная жизнь, как грибы после дождя зарождаются новые журналы. По данным Фолкманна [7. S. 122], в 1922–1924 гг. Берлин “бил” Париж по количеству русских периодических изданий в два раза, а по количеству книг так еще больше, тогда как в Париже даже “Последние Новости” в 1921–1922 гг. с трудом боролись за существование. Газета “не раз была на краю гибели. ... Не раз с горечью мы думали о том, что через неделю нечем будет заплатить за экспедицию, за типографию”. А “Общее Дело” Бурцева, старейшая русская эмигрантская газета, в 1922 г. погибла. Казалось, что “перед новою столицей померкла старая”, не даром ведь будто бы берлинцы переименовали Курфюрстендамм в Нэпский проспект.

Берлину было тем проще конкурировать с Парижем, что одновременно возникли два “специализированных” центра. В единоверной Сербии сложился центр церковный и военный, но здесь охотно принимали и “штатскую” интеллигенцию. В Праге зародился уникальный академический центр. Покидать Париж ради прекрасной, но проинициальной Праги не очень хотелось, еще меньше – ради Сремских Карловцев или все еще захолустного Белграда, но ради эмигрантского дела люди на это шли, впрочем, иногда и просто ради заработка, мизерного, по сравнению с прошлым, но все же относительно устойчивого. Особенно в Праге на время собирается немало недавних парижан. Среди них Н.И. Андрусов, Н.М. Могиланский, П.Б. Струве, Н.И. Астров, графиня С.В. Панина, В.А. Харламов. Может показаться, что не бывать уже Парижу столицей русской эмиграции. Но вдруг все изменилось.

1925 – переломный год. Свидетельством тому – появление в Париже в этом году сразу 18 или даже 19 новых периодических изданий, больше чем в три предшествующих года вместе взятые. Но важно даже не число, а качество и/или значение (что не всегда совпадает). В мае 1924 г. появилась “первая ласточка” оживления русского Парижа – “Иллюстрированная Россия”. Это было преимущественно коммерческое издание, рассчитанное на платежеспособный спрос, и оно выжило – явление в эмиг-

⁵ По переписи 1925 г., из 253 тыс. бывших подданных Российской империи, живших в Германии, было более 63 тыс. евреев и 59 тыс. немцев по родному языку [5. P. 113]. И хотя у первых не было особых поводов любить “контрреволюционное” государство, а другие были “переполнены чувством ненависти”, по авторитетному мнению прусского министра внутренних дел (характеристика относится к Розенбергу [5. P. 171]), и те, и другие, с противоположных, правда, позиций, помогали русской эмиграции устанавливать связи с местной средой.

рации крайне редкое⁶. Повторить этот коммерческий успех изданиям, начавшимся в 1925 г., не было суждено, но многие из них играли важную роль в разных областях. Однако в связи с темой хочется обратить внимание на другое: почти треть новых для Парижа изданий была перенесена из Берлина⁷ и Праги⁸. Еще более показательное участие людей, вернувшихся или впервые переехавших в Париж из других центров. Так, “Возрождение”, несомненно второй по значению орган русской эмиграции, возглавил вначале П.Б. Струве, до того “изменивший” Парижу ради Русского университета в Праге. Но если “Возрождение”, как показал опыт, могло существовать без Струве, то “Путь” был делом берлинцев и пражан по преимуществу, “Вестник РСХД” – в большей степени.

Чем можно объяснить такое “массовое” переселение эмигрантской элиты в Париж? Первое, что бросается в глаза, это “перенесение” в Париж поступающих из США и Великобритании средств. Застрельщиком в этом деле стал “The American Committee for the Education of Russian Youth in Exile” (“Американский комитет по обеспечению образования русской молодежи в эмиграции”) профессора Витмора, который с 1924/25 г. перевел своих стипендиатов из Германии во Францию и Бельгию (см. [7. S. 129–130; 10. С. 37]). Это, может быть, еще можно объяснить политическими доводами, очередным обострением отношений между Антантой и Германией, так как неясно, когда этот сдвиг начал готовиться. Однако перенос деятельности Христианской помощи молодым людям (ИМКА) из Берлина в Париж к концу 1924 г. явно связан с поиском места наиболее эффективного приложения сил. Это завершение пути через Чехословакию и Германию. Париж же оказался стабильным.

Этот сдвиг трудно будет понять, если не учесть всего, что происходило в Европе по отношению к эмиграции. 1924 г. стал годом признания СССР *de jure*. Между 8 февраля, когда СССР признала Великобритания, и 28 октября, когда это сделала Франция, СССР признало еще шесть европейских государств. Это явилось признанием того, что советская власть окрепла, давление на нее резко снижается и, соответственно, снижаются и шансы на возвращение эмигрантов на родину. Эмиграция переставала быть интересной как для правительств, так и для промышленных или политических кругов тех стран, которые с ее помощью надеялись утвердиться в послебольшевистской России. Страны максимально помогавшие эмиграции в расчете на ее краткосрочное пребывание за рубежом – а вера в скорое падение большевиков была в начале 1920-х годов чрезвычайно распространена – оказались наименее подготовленными к тому, чтобы “впитать” в себя принятых эмигрантов. С 1925 г. в них начинается резкое падение количества средств, выделяемых на помощь эмиграции, и обнаруживается, что большинство эмигрантов ждет безработица⁹. Напротив, Франция, которая затратила много в период эвакуации белых из Крыма и размещения армии и беженцев в первые месяцы после эвакуации, на своей территории оказывала лишь минимальную (относительно к экономической мощи страны) помощь, заставляя тем самым эмигрантов находить средства существования и раньше братья за руль такси, становиться к фабричному станку, спускаться в шахты, разводить кур и т.д. Эти занятия не обогащали эмигранта в плане его чаемой миссии после возвращения на родину, но непосредственно давали ему доход, не зависимый от видов

⁶ Исключительно ценный материал по вопросу о жизни эмигрантской прессы собран и обработан в [9].

⁷ Прежде всего “Дни” Керенского, “Дело и Труд”, видимо, продолжение берлинского “Анархического Вестника”, который, по Вильямсу, был перенесен в Париж, но мне под этим названием неизвестен, наконец, сионистический “Рассвет”.

⁸ Предшественником “Вестника РСХД” был “Духовный мир студенчества”, в котором парижское название было подзаголовком, пражский предшественник был и у “Информационного листка Объединенного совета Дона, Кубани и Терека”.

⁹ В Чехословакии государство ассигновало в 1925 г. на 27% меньше средств, чем в предыдущем. Аналогичный процесс проявляется и в Королевстве СХС, Германии и других странах.

того или иного правительства или тех или иных общественных кругов. К 1925 г. во Франции, например, культурно-просветительная деятельность русской эмиграции оплачивалась уже почти наполовину из средств самих эмигрантов, тогда как не только в Чехословакии и Югославии, но и в Германии, Прибалтийских республиках или в Бельгии львиную долю средств к жизни доставляли еще государственные и общественные фонды¹⁰. А обескровленная войной Франция могла предоставить работу и во второй половине 1920-х годов. Смещение “молчащего большинства” эмигрантов во Францию, которое по многим причинам выскальзывает из поля зрения исследователей эмиграции¹¹, продолжалось по меньшей мере до начала 1930-х годов. Эта масса относительно обеспеченных тружеников создавала (опять же относительно) стабильность эмигрантской среды во Франции и способствовала концентрации здесь как эмигрантской элиты, так и перемещению сюда потоков помощи из США и Великобритании (помимо названных, следует привести еще хотя бы сэра Г. Детердинга, благодаря супруге пожертвовавшего громадные средства, Фонд помощи духовенству в России и за ее пределами, русской Духовной академии и Русскому православному студенческому движению в эмиграции, Н. Сполдинга и т.д.). Наконец, во Францию постепенно начали стягиваться и средства эмигрантов из всего рассеяния, скажем в фонд великого князя Николая Николаевича, затем в РОВС.

Эти процессы происходили параллельно, усиливая друг друга. В 1925 г. интеллектуальная элита действовала с некоторым опережением, лучше зная реальное положение и оценивая перспективы. Но сдвиг происходит не в один год. Следующим этапом можно считать Зарубежный съезд. Победа на нем умеренно правых привела, по словам Фолкмана, к окончательному перемещению центра реакционной эмиграции из Берлина в Париж [7. S. 115]. И.А. Ильин это выразил в апреле 1926 г. в письме П.Б. Струве следующим образом: “По-видимому, Берлин освобождается от скверного гнезда интриг, именуемого Выс. Мон. Советом; по-видимому, этот клоповник въезжает в Париж” [11. С. 175].

Но окончательным утверждением Парижа как общеэмигрантского центра надо считать переезд сюда центра РОВС, завершившийся к 1929 г. Вне Парижа из общеэмигрантских институтов оставался лишь Архиерейский Синод за границей в Сремских Карловцах. Но можно считать не случайным, что раскол между ним и митрополитом Евлогием произошел летом 1926 г., в момент всестороннего укрепления верховенства Парижа в эмиграции. Либеральная столица нуждалась и в либеральных пастырях¹².

Остается сказать несколько слов о стремлении русских эмигрантов в Париж в первый период эмиграции (1918–1920) и в третий (1925–1933). В первый период в

¹⁰ Об этом с восторгом писал в начале 1926 г. хорошо информированный журнал “Русская школа за рубежом” (1926. № 23. С. 608). В этой связи чрезвычайно интересны данные о русских взносах в Центральный комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей, составившие в 1922/23 г. всего 30 тыс. франков, 1925/26 – 68 тыс., 1928/29 – 196 тыс., а в последний для Франции еще безкризисный 1930/31 год – 326 тыс. [10. С. 43–44]. Аналогичны данные о росте возможностей Владимирского подворья, прихода в Аньер и т.д.

¹¹ Помимо общих причин, всегда несколько отодвигающих на задний план “молчащее большинство”, в отношении русской послереволюционной эмиграции существует и одна особая: учитывая требования властей и общественности принимающих стран, эмигрантская пресса, в большинстве случаев, значительно демократичнее и либеральнее, чем это “молчащее большинство”. У некоторых исследователей чувствуется явное желание противопоставить “хорошую” эмиграцию “плохим” большевикам и поэтому затушевать иногда крайне реакционные настроения эмигрантской массы, другие же просто отождествляют эти настроения с высказываниями эмигрантской прессы, считая ее совершенно свободной.

¹² Это, конечно, большое упрощение, но следует отметить, что хотя Париж “правел” по мере стягивания в него эмиграции, “реакция” в нем “бледнела”, принимала более “благоприятные” формы, чем в Германии или Югославии.

Париж стремились как в столицу мира, ожидая как конкретной помощи в борьбе с большевиками, так и мечтая использовать свое пребывание там для углубления знакомства с блистательной французской культурой, насладиться неповторимой атмосферой парижской повседневной жизни.

В третий период основной мотив – помощь в борьбе с большевиками – после очередного “предательства” французов в виде признания СССР правительством Эррио практически отпал. Но отпали для большинства и иллюзии о возможностях отдавать себя интеллектуальным занятиям. Как писал С.Я. Эфрон сестре, в Париж “придется” ехать, так как в Чехословакии немыслимо найти работу. Но и люди, которым умственная работа в Париже была обеспечена, не всегда туда стремились. Например, русские философы, сгруппировавшиеся вокруг “Пути”, были в большинстве больше связаны с немецкой философией, чем с французской, и некоторые из них последовали в Париж за ИМКА, а не по иным причинам.

Короче говоря, на этом этапе необходимость довлела над стремлением. Это ничего не меняет в том факте, что по влечению или по необходимости попадавшие во Францию эмигранты создали на полтора десятка лет стабильное и платежеспособное сообщество, позволившее развивать русскую культуру, питать различные политические и общественные начинания. Именно русский Париж создал тот облик эмиграции, как мы его сейчас знаем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Документы и материалы по истории советско-чехословацких отношений. М., 1973. Т. 1. Док. 174.
2. Протоколы заграничных групп конституционно-демократической партии. Май 1920 г.–июнь 1921 г. М., 1996.
3. *Руль*. 5 X 1921 г.
4. *Госархив Чешской Республики*. MZV – RPA. Karton 39.
5. *Williams R.C. Culture in Exile. Russian Emigrés in Germany, 1881–1941*. Cornell, 1972.
6. *Thomas R., Beyer Jr. u. a. Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg*. Berlin, 1987.
7. *Volkman H.E. Die Russische Emigration in Deutschland 1919–1929*. Würzburg, 1966.
8. *Словцов Р.* 10 лет “Последних Новостей” // *Последние Новости*. 26 IV 1930.
9. *Флейшман Л., Абызов Ю, Равдин Б.* Русская печать в Риге: из истории газеты “Сегодня” 1930-х годов. Stanford, 1997. Кн. 1–5.
10. [Федоров М.] Русская молодежь в высшей школе за границей. Деятельность Центрального Комитета по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей. Париж, 1933.
11. *Ильин И.А.* Собрание сочинений. Дневник. Письма. Документы. М., 1999.



© 2003 г. Е. П. СЕРАПИОНОВА

Т.Г. МАСАРИК, К. КРАМАРЖ И РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ

В последние годы появился ряд новых публикаций, позволяющих несколько по-иному взглянуть на указанную в заголовке проблему. Прежде всего следует назвать подготовленный коллегами из Славянского института АН ЧР том документов по истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике [1]. Редакторами-составителями этого сборника являются З. Сладек и Л. Белошевская. В книгу вошли письма, адресованные Т.Г. Масарику и К. Крамаржу, отдельных эмигрантов (писателей, политических и общественных деятелей, ученых) с просьбой о помощи и благодарностью за оказанную поддержку, а также обращения и послания русских, украинских, калмыцких эмигрантских учреждений и организаций, находившихся как в Чехословакии, так и за ее пределами. Другие материалы повествуют о контактах чехословацкого президента и премьер-министра с российскими эмигрантами, приемах и беседах, например, с известным ученым Н.П. Кондаковым, дочерью Л.Н. Толстого Т.Л. Сухотиной-Толстой и др. Ряд документов содержит косвенную информацию о личном непосредственном участии Масарика и Крамаржа в “русской акции” и их заинтересованном отношении к российским эмигрантам [1].

Весьма интересны и монографии И.П. Савицкого [2, 3]. В первой работе представлена весьма оригинальная версия “русской акции”, подчеркнута связь всесторонней помощи российским эмигрантам со стороны чехословацкого правительства с “русской политикой” Масарика и Крамаржа вообще. Во второй книге сопоставляются четыре европейских центра русской эмиграции – Париж, Берлин, Белград и Прага, и показана специфика каждого из них. Эта книга издана на русском языке, что облегчает российскому читателю знакомство с ней.

Кроме того, в Праге увидел свет тематический выпуск ежегодника “Rossica”, специально посвященный памяти К. Крамаржа, в ряде статей которого специально рассматриваются связи чешского политика с русской эмиграцией [4].

Несколько слов о подходах к изучению этой темы. Проблему “Т.Г. Масарик, К. Крамарж и русская эмиграция” невозможно рассматривать вне контекста, в отрыве от других вопросов. Необходимо учитывать отношение Масарика и Крамаржа к России, сложившееся в конце XIX–начале XX ст. на основе изучения трудов по славянскому вопросу П. Шафарика, Ф. Палацкого, Я. Коллара и чтения русской художественной литературы. Принципиально важно знать позицию обоих чешских

Серapiroнова Елена Павловна – канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 01-01-00280а.

политиков в отношении России в годы Первой мировой войны, их восприятие русских революций 1917 г., связи с российскими политиками (подробнее см.: [5. С. 124–143]).

Интерес к России проявился у Т.Г. Масарика рано. Еще в гимназии в Вене он изучал русский язык, часто встречался с русскими. Позднее Масарик серьезно занимался русской литературой, стремясь познать российскую действительность изнутри. В 1887 и 1889 гг. он предпринял две поездки в Россию. Л.Н. Толстого Масарик знал лично, встречался с ним; очень высоко он ценил произведения Ф.И. Достоевского.

Масарик был далек от наивного русофильства и славянофильства. Еще в 1908 г. он выступил с критикой идей неославизма К. Крамаржа, ставя под сомнение возможность культурно-экономического сближения славян без каких-либо политических перспектив [6. 24 XII 1908]. Царскую Россию он воспринимал достаточно критически. В 1913 г. в Вене были опубликованы первые два тома неоконченного труда профессора Масарика “Россия и Европа”, в котором он предсказывал будущую революционную катастрофу Российской империи и обосновывал вывод о необходимости ее “европеизации”. Книга была написана в строго научном тоне, не содержала резких выпадов против России, однако была воспринята российским МИД крайне негативно из-за противопоставления России и Европы и выводов об общей отсталости нашего отечества от Европы. В этом была усмотрена “недружественная” тенденция, и работа была запрещена в России [7. Л. 53–54].

В предвоенные годы лидер партии реалистов Т.Г. Масарик стал восприниматься российским общественным мнением как политик прозападной ориентации. Однако в самом начале Первой мировой войны Масарик неожиданно обращается к России, о чем свидетельствуют два его меморандума на имя министра иностранных дел С.Д. Сазонова (октябрь 1914 г. и январь 1915 г.) [8. С. 115]. В этот период он соглашался действовать совместно с другими чешскими политическими партиями и даже одобрял план К. Крамаржа по созданию чешского вице-королевства под эгидой российского императора, хотя и считал его максималистским. В конце 1915 г., в связи с изменением военной и политической ситуации, он выдвигает более осторожный и гибкий план, свидетельствовавший о переориентации Масарика на Запад [7. Л. 20 об.; 8. С. 125].

Февральскую революцию Масарик, будучи председателем Чехословацкого национального совета в Париже, поддержал [9]. С министром иностранных дел Временного правительства П.Н. Милюковым он состоял в дружеских отношениях [6. 23 III 1917]. Масарик рассматривал Первую мировую войну как столкновение двух систем – западной демократии и реакционных имперских режимов. Россия, выступавшая на стороне союзных держав, не укладывалась в его схему. Поэтому он воспринял Февраль как логическое следствие позиции России в войне. Масарик решает ехать в Россию, чтобы на месте понять характер разворачивавшихся там событий и их возможных последствий для решения “чехословацкого вопроса”. Почти год Масарик пробыл в России, ускорив формирование Чехословацкого корпуса. Он встречался со многими российскими политиками, но поддержку идеи независимости чехов и словаков нашел лишь у небольшой группы социал-демократов во главе с Г.В. Плехановым, у народных социалистов из “Воли России” и “бабушки русской революции” К. Брешко-Брешковской [10. С. 298]. Именно эти политические силы позднее, в эмиграции, были поддержаны чехословацкими властями в первую очередь.

Большевистский переворот застал будущего чехословацкого президента в Петрограде, так что он стал его непосредственным свидетелем. Масарик негативно относился и к марксизму, и к большевизму, хотя и размежевывал эти понятия. По его мнению, большевизм ни по теории, ни по практике марксизмом не являлся, представляя собой “чисто русское явление” [11. С. 12]. Масарик не мог согласиться с отсутствием демократии и свободы даже во имя самых прекрасных идеалов, он подчеркивал внутреннее родство царизма и большевизма, а диктатуру пролетариата считал “абсолютным владычеством меньшинства” [11. С. 13]. Однако, несмотря на

негативное отношение к большевизму, чехословацкий политик придерживался принципа невмешательства в “русские дела”. И лишь давление великих держав, прежде всего Великобритании, заставило Масарика позднее согласиться с использованием чехословацких легионеров в Гражданской войне в России [2. S. 85]. Масарик ставил цель создания федеративной, сильной России с демократическим правительством. Чехословацкий корпус поддерживал в основном левые силы, представленные Комучем [2. S. 91]. Все эти обстоятельства не могли не сказаться на отношении чехословацкого президента к волне русских эмигрантов, нахлынувшей из Советской России после окончания Гражданской войны.

К. Крамарж был не меньшим знатоком России. Его первый визит в нашу страну состоялся в 1890 г. Причем Масарик дал ему рекомендательные письма к некоторым российским славистам и литераторам, в том числе к Л.Н. Толстому. Уже первое посещение России было достаточно длительным (несколько месяцев) и обстоятельным: кроме Варшавы, Петербурга, Москвы, Тифлиса и Баку, Крамарж побывал в российской деревне, навестив своего родственника, служившего управляющим в имении Д. Самарина на Волге. В России Крамарж встречался с В.С. Соловьевым, С.Н. Трубецким, В.И. Ламанским, А.Н. Пыпиным, братьями Н.Я. и К.Я. Гротами, В.К. Саблером. Посетил он и Л.Н. Толстого, с которым, в отличие от Масарика, затрагивавшего философские материи, обсуждал в основном вопросы практической политики. Если сравнивать впечатления Масарика и Крамаржа от встреч с Толстым, можно заметить, что оба чешских политика ценили литературный талант Толстого, но отмечали противоречивость его взглядов и поведения. Масарик при этом был более критичен, Крамарж же в большей степени испытал на себе влияние Толстого, был “потрясен его любовью к человечеству” [12. S. 10]. Россия оставалась загадкой для Крамаржа, но он был ею очарован. Здесь он встретил свою будущую супругу, Надежду Николаевну Абрикосову (в девичестве Хлудову). Позднее Крамарж неоднократно приезжал в Россию, имел тесные контакты со многими российскими государственными и общественными деятелями.

Весьма интересным и плодотворным является сопоставление позиций Т.Г. Масарика и К. Крамаржа, выявление общих и различных черт их “русской политики”. Инициатором “русской акции”, “отцом русской эмиграции” по праву считается К. Крамарж, первый премьер-министр ЧСР, политик традиционной пророссийской ориентации. Но и без поддержки президента Чехословацкой республики “русская акция” не могла бы принять таких крупных размеров (тем более что Крамарж находился на посту председателя правительства весьма непродолжительное время). “Русская акция” приняла весьма внушительные размеры. В 1924 г. сумма расходов чехословацкого правительства на российских эмигрантов превысила затраты на беженцев из России всех европейских государств, вместе взятых. При этом надо учитывать, что по количеству эмигрантов Чехословакия занимала лишь 11 место в списке из 20 стран. В разные годы в стране проживало от 6 до 30 тыс. выходцев из России. Кроме того, Чехословакия являлась единственной страной, которая предоставляла помощь российским эмигрантам и за ее пределами [13. С. 26], причем как отдельным выдающимся писателям, ученым, деятелям культуры, так и эмигрантским организациям. В 1923 г. главе Земско-городского комитета в Париже кн. Г.Е. Львову удалось обратить внимание правительства ЧСР на положение русских школ вне Чехословакии, которые с этого времени были включены в “русскую акцию”. Благодаря средствам, выделяемым ЧСР, в 11 западноевропейских странах существовали 65 русских школ. Без этой финансовой помощи пришлось бы почти полностью ликвидировать русские школы в Финляндии, Эстонии, Польше, Греции и большинство школ в Болгарии [13. С. 26].

И Масарик, и Крамарж вступали в политику в 80-е годы XIX в. как реалисты. И тот, и другой вошли в соглашение с младочехами для участия в выборах в рейхсрат. Обоим политикам был свойственен повышенный интерес к России. В дальнейшем политические пути их разошлись, они становятся политическими соперниками.

С этим была связана их различная внешнеполитическая ориентация (Запад–Россия) и идейные взгляды. Масарик придерживался леволиберальных, реформистских идей, которые в российском политическом лагере выражали левые кадеты (П.Н. Милуков) и эсеры. Крамаржу были ближе идеи конституционной монархии, которые исповедовали октябристы и правые кадеты. Оба политика резко отрицательно относились к Октябрьской революции. Но Масарик считал большевизм внутренним кризисом, который нельзя “лечить” вмешательством извне, а Крамарж, наоборот, яро выступал за интервенцию, ездил в 1919 г. к Деникину в Ростов.

Отсюда и их различное отношение к российским эмигрантам. Масарик стремился избегать контактов с консервативными, монархическими кругами, делая ставку на “прогрессивные силы” в лице эсеров. При этом он надеялся, что со временем большевиков в России сменят более умеренные политики и левой российской эмиграции будет легче с ними договориться. “Русская акция” была не случайным явлением, а продолжением русской политики Масарика. Министерство иностранных дел Чехословакии во главе с Э. Бенешем “фильтровало” поток беженцев, предпочитая сосредоточивать у себя лишь определенные категории. В начале 1920-х годов в Праге обосновался эсеровский центр во главе с В. Черновым. В благотворительной организации Пражский Земгор, через которую российским эмигрантам поступала практически вся правительственная помощь, эсеры также составляли большинство [14]. Первоначально чехословацкий МИД отказывался размещать на своей территории врангелевские части, но затем дал согласие принять несколько тысяч казаков, расценивая их как “земледельцев”.

Одновременно родилась идея превратить Прагу в центр образования русских эмигрантов. Туда были приглашены студенты для окончания учебы, а позднее и русская профессура. И.П. Савицкий считает, что осенью 1921 г. произошла своеобразная переориентация Масарика на сотрудничество со способными практиками (возможно, не левых политических направлений), а не с идеологами [2. С. 189]. Дело в том, что влияние эсеров в эмиграции было невелико, и они составляли весьма небольшой процент от общего числа эмигрантов. Большую роль в этой переориентации Савицкий отводит профессору А.С. Ломшакову, известному инженеру-технику, правому кадету, поддерживавшему белое движение и интервенцию.

В 1920–1930-е годы в Чехословакии была создана целая сеть русских образовательных учреждений, начиная с яслей и детских садов и кончая высшими учебными заведениями. Все образовательные институты русских эмигрантов в Чехословакии полностью содержались на средства правительства. В начале 1930-х годов, когда размеры помощи русским в ЧСР значительно сократились, Масарик по просьбе эмигрантских общественных организаций взял под личный контроль заботу о вузовской молодежи. Чехословацкий президент выделил необходимые деньги, в том числе и из личных средств, с тем чтобы 142 студента могли закончить институты в 1932 г., а 50 студентов – продолжать образование до октября 1936 г. [15. С. 3]. Его отличала забота о молодежи и детях. В “День русского ребенка”, помимо уличных сборов, видным лицам и учреждениям рассылались так называемые подписные листы. Среди жертвователей непременно значились как К. Крамарж, так и Т.Г. Масарик [16. № 3. С. 9(21)].

Прага стала также центром науки русского зарубежья. Там находилось руководство Союза русских академических организаций, объединившего русских ученых, работавших в разных странах. В Чехословакии были созданы философское, педагогическое, историческое научные общества, учрежден Русский заграничный исторический архив (РЗИА), действовал семинар Н.П. Кондакова, работал Экономический кабинет проф. С.Н. Прокоповича, был основан Русский культурно-исторический музей. “Русская акция” была направлена на то, чтобы не только материально обеспечить эмигрантов, но дать им возможность получить образование и, насколько это возможно, реализовать свои научные и культурные потенции. Именно в области по-

мощи культурным нуждам российского зарубежья президент делал все, что было в его силах [16. № 6. С. 1(49)].

Благодаря политике чехословацких властей, Прага нередко являлась местом проведения научных и общественных съездов и конференций представителей российской эмиграции из разных стран. Кроме того, чехословацкая столица была достаточно крупным издательским центром россиян. О роли Масарика и Крамаржа в “русской акции” и отношении к ним со стороны русской колонии в ЧСР можно судить по эмигрантской периодике. Хотя здесь надо иметь в виду, что большинство материалов о Масарике и Крамарже публиковалось в связи с юбилейными датами, да и русские находились в ЧСР на положении “засидевшихся” гостей. Необходимо также учитывать и общий настрой чехословацкого общества, восприятие первого президента как “отца нации”, “героя-освободителя”, повлиявшие на российскую эмигрантскую прессу. Но подобные материалы были не только проявлением долга вежливости со стороны нашедших себе приют в гостеприимной Праге русских эмигрантов, но и, как писала одна из газет, “актом живой душевной потребности людей”. Эмигранты различных политических направлений относились к чехословацкому президенту с уважением и благодарностью. И даже политические оппоненты считали его “самым достойным выразителем своих государственных идей” [17. 5 III]. Хотя различные печатные органы (в зависимости от идейных взглядов и политической окраски их редакторов и издателей) подчеркивали совершенно разные черты президента. Так, в “Бюллетене Союза русских инвалидов в Чехословакии” Масарику выражалось глубокое уважение как президенту “Славянской республики”, “центральной сестры всего славянства”, “воину слова и дела”, жизнь которого – служение своему народу [18]. В журнале “Центральная Европа” подчеркивался демократизм и гуманизм президента, цитировались слова Масарика о том, что “демократия не только политический идеал, но и идеал социальный и экономический”. Здесь же приводились высказывания о Масарике немецких писателей Г. Манна и Э. Людвига. Первый из них считал, что Масарик был другом своего народа, человеком духовно зрелым, который вел борьбу за европейскую идею мира и единства. Второй отмечал, что Масарик вышел из народа, подчеркивал его нравственные качества, человеколюбие, терпимость и юмор [19].

Русская колония активно участвовала в торжествах, посвященных юбилеям Т.Г. Масарика и К. Крамаржа. В 1920 и 1930 гг. русские активно чествовали К. Крамаржа в связи с его 60- и 70-летними юбилеями. В 1930 г. торжественное заседание в честь Масарика было устроено 60 русскими организациями в Чехословакии во главе с Эмигрантским комитетом и правлением Союза русских академических организаций [16. № 6]. Обычно эти торжества превращались в национальный праздник возрождения государственности. Эмигрантская пресса отмечала, что это не было “казенным” празднеством наподобие “царских” дней, инициатива шла снизу, искренняя радость и энтузиазм чувствовались повсеместно [17. 8 III]. В торжествах принимали участие как ветераны Русского воинского союза [20. С. 16], так и гимназисты [16. № 8. С. 77–80]. Нередко эти акции использовались как демонстрация русско-чешской дружбы [16. № 12–13]. Эмигрантская периодика печатала стихи, посвященные Масарику и Крамаржу, их биографии, приветственные адреса, описания торжеств, их речи или выдержки из них. Общие оценки Масарика и Крамаржа как политических лидеров были очень высокими. Масарик характеризовался как “вождь нации”, “духовный революционер” [19. С. 83; 17. 3 III], Крамарж как “отец эмиграции”.

Но в поздравлениях, приветствиях, благодарностях иногда скрывалась замаскированная критика “идеалистического гуманизма”, “воздушных замков возвышенных социальных утопий”, противоречий теории и практики Масарика (апологет идеи человечества – и руководитель чешского национального движения; гуманист и пацифист – и поборник борьбы с Германией до победного конца; республиканец – но выступавший в начале мировой войны за чешское королевство под эгидой Романовых) [17. 5 III]. В эсеровских изданиях Крамарж часто подвергался критике как монар-

хист и поборник иностранной интервенции. Со страниц эмигрантской печати и Масарик, и Крамарж предстают как яркие неординарные фигуры, первый – как ученый и, вместе с тем, гибкий политик, прагматик, второй – как консервативный политический деятель, верный своим идеям, преданный России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dokumenty k dějinám Ruské a Ukrajinské emigrace v Československé republice (1918–1939). Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918–1939). Praha, 1998.
2. *Savicky I.* Osudové setkání. Češi v Rusku a Rusové v Čechách. 1914–1938. Praha, 1999.
3. *Савицкий И.* Прага и зарубежная Россия. (Очерки по истории русской эмиграции 1918–1928 гг.). Прага, 2002.
4. Rossica. Научные исследования по русистике, украинистике, белорусистике. Praha, 2001. V–VI (2000–2001).
5. *Серационова Е.П.* Т.Г. Масарик и К. Крамарж: отношение к России // Европейские сравнительно-исторические исследования. Европейское измерение политической истории. М., 2002.
6. Речь.
7. Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф.135 Особый политический отдел. Оп. 474. Д. 209.
8. *Савваитова М.Д.* Чешский вопрос в официальных кругах России в годы первой мировой войны // Первая мировая война. Дискуссионные проблемы истории. М., 1994.
9. Русская воля. 17 III. 1917.
10. *Tobolka Z.* Politické dějiny československého národa od r.1848 az do dnešní doby. Praha, [б.г.]. Díl. IV. 1914–1918.
11. *Масарик Т.Г.* Славяне после войны. Прага, 1923.
12. *Herman K., Sládek Z.* Slovanská politika Karla Kramáře. Praha, 1971.
13. Бюллетень Педагогического Бюро по делам средней и низшей русской школы за границей. Прага. 1925. № 9.
14. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 5764. Оп. 1. Д. 255. Л. 71.
15. *Chinyeva E.* Ruske emigrace v Československu (Problémy a výsledky výzkumu) // Slovanský přehled. 1993. № 1.
16. Вестник педагогического бюро и объединения русских учительских организаций за границей. Прага. 1930.
17. Славянская заря. 1920.
18. Бюллетень Союза русских инвалидов в Чехословакии. Прага. 1930. № 1.
19. Центральная Европа. Прага. 1935. № 2.
20. Сигнал. 1935. № 1.



© 2003 г. М. А. КРИСАНЬ

В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННОГО МИРА. О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕСТЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЭМИГРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬСКИХ КРЕСТЬЯНСКИХ ПИСЕМ РУБЕЖА XIX–XX ВЕКОВ)

“Много людей, особенно безземельных и малоземельных идет по миру хлеб искать. Раньше и слышно не было, чтобы кто в зимнее время шел в Америку, а теперь не смотрят и на зиму, если сто рублей есть, уже и едут!”¹ [1], – писал в 1902 г. один из читателей народной газеты “Gazeta Świąteczna” (1881–1939) из Ломжинской губернии Царства Польского, называемого в российских документах с 1867 г. Привислинским краем. Эмиграция за океан в Бразилию и США в польских землях началась еще в 70-е годы XIX в. с Силезии, района, относившегося к Пруссии, и Западной Галиции, которая находилась в составе Австро-Венгерской империи. В 1890-е годы эмиграцией были уже охвачены западные районы Царства Польского, а на рубеже XIX–XX вв. и восточные земли, в том числе Ломжинская губерния. Причины эмиграции связывают главным образом с общеевропейскими экономическими кризисами и неурожаями [2. S. 48–49], с политикой и реформами принимающей стороны, а также со снижением цен на билеты [3. S. 24]. Основная волна эмиграции, называемая “бразильской лихорадкой”, пришлась на 1890–1914 гг.

В 1941 г. историк В. Куля (1916–1988), просматривая учебник по архивоведению К. Конарского, обнаружил информацию о хранящихся в Архиве древних актов в Варшаве нескольких коробках с письмами крестьян-эмигрантов к родственникам в бывшем Царстве Польском. Письма были задержаны одним из отделов канцелярии варшавского обер-полицмейстера с целью борьбы с эмиграцией. Большая часть коллекции погибла в 1944 г. во время Варшавского восстания. Сохранилось более 300 писем (1890–1891) в Плоцкую губернию: В. Куля не успел вернуть в архив одну из коробок. Письма были изданы в 1973 г. В. Кулей, его женой, историком и социологом Н. Ассородобрай-Кулей, и сыном, историком и социологом М. Кулей [4]. Около 250 писем написано по-польски, примерно 80 на других языках (идиш, немецкий, литовский, русский). Это уникальный материал, дающий возможность изучения разных аспектов, связанных с традиционной культурой и процессом эмиграции.

Крисань Мария Алексеевна – аспирантка Школы социальных исследований Польской академии наук (Варшава).

¹ Здесь и далее перевод текстов писем автора, сохраняются прописные буквы и пунктуация оригинала.

Примером тому может служить статья Адама Валашека, посвященная семантике слова “работа” в письмах эмигрантов [5]. В связи с изданием писем крестьян-эмигрантов следует упомянуть работу социологов В.И. Томаса и Ф. Знанецкого “Польский крестьянин в Европе и Америке” [6], положившую начало использованию личных источников в общественных науках.

Вернемся, однако, к самим крестьянам-эмигрантам. Крестьянской эмиграцией движут идеи реализации определенной мечты. Прежде всего – это мечта о возвращении в родную деревню богатым и преуспевающим человеком. Т. Шанин называет это стремление “патентованной утопией, которой подчинены все помыслы, устремления и притязания многих мигрантов” [7. С. 154–155]. Другая тенденция связана, образно говоря, с идеей обретения рая на земле, когда новая страна пребывания воспринимается в качестве земли обетованной, своего рода полигона для реализации определенных жизненных целей, которые не могли быть осуществлены на родине эмигранта. В данной статье мне бы хотелось в рамках представленной темы остановиться на двух сюжетах:

1) Возвращение на родину было немислимо без поддержания контактов с семьей. Во второй половине XIX в. эта проблема решалась с помощью писем, в связи с чем возникает важная для понимания крестьянской эмиграции тема функционирования письма в крестьянской среде Царства Польского;

2) Отношение крестьян к католической церкви в конце XIX–начале XX в. – это тема дает возможность увидеть способы реализации мечты на новом месте, в крестьянско-эмигрантской среде.

Говоря о социально-коммуникативной функции письма, я опираюсь прежде всего на разработки Ю.М. Лотмана по семиотике культуры и относительно понятия “текст”, в которых текст представляется “как сложное устройство, хранящее многообразные коды” [8. С. 7]. Письма эмигрантов к родственникам создавались людьми зачастую неграмотными при помощи “ученого”, который записывал диктуемый текст – своего рода воображаемый разговор с родственниками из-за океана. Наиболее ярким и одновременно крайним примером такого письма, шедевром устно-письменной культуры является письмо Я. Стшелеца к родственникам от имени умершего. Я позволю себе процитировать его целиком, что даст возможность понять, с какого рода источником мы имеем дело. В отличие от других писем это более многоплановый источник – это, во-первых, письмо “ученого” к родственникам умершего от имени последнего, и, во-вторых, письмо человека со стороны, “чужого”, исполнявшего последнюю волю покойного.

«В последнюю минуту моей жизни я говорил тебе: “Дорогая жена да благословен будет Иисус Христос. Любимейшая моя жена и любимые дети и любимейшая Мама я прощался с вами всеми в последнюю минуту моей жизни я прощался с женой и детьми и мамой и со всеми своими родственниками с помощью этой белой бумаги, я не увижусь с вами до Божьего суда, потому как я простился с этим миром и с вами всеми, я хотел вас всех увидеть до последней минуты своей жизни, но я не смог дожидаться. Моя болезнь была такая, у меня заболел палец на правой руке и вся рука опухла, так что я не мог сам перевернуться, а меня переворачивали с боку на бок, я не мог эту болезнь выдержать. Господь Бог забрал меня из этого мира, три воскресенья я был болен, а во время болезни я был у Антония Стшелеца”. Он его выгнал из своего дома, он говорил, что тот ему воняет в доме, только чужие люди его взяли и были с ним до последней минуты его жизни. Он только со мной говорил, когда еще был жив, до своего последнего часа, прощался со своей женой и детьми и с мамой своей и со всеми родственниками, и говорил, что встретиться с вами на божьем суде когда восстанете все в один час. Теперь нечего мне вам больше о нем написать, осталось лишь вам поклониться Ян Стшелец.

Ян Стшелец это письмо вам написал. Если вы захотите написать мне письмо так я вам напишу свой адрес, как получите это письмо ответьте мне, чтобы я знал что это письмо дошло до вас.

Дражайшая Марианна Секлицкая ваш муж умер 19 декабря после обеда в три часа, а был похоронен в четверг в десять часов утра. Его похоронили на польском кладбище, пока он был болен к нему три раза приходил доктор, уход за ним был хороший, не будете нарекать, только дайте за него на мессу и на то, чтобы его имя при молитве упомянули. Теперь мне нечего вам писать, осталось лишь поклониться за него и прошу вас ответить мне как можно скорее. Я. С.» [4. S. 219–220].

Это письмо, содержащее как минимум два пласта информации, представляемой каждый раз в соответствии с определенным ритуалом и социально-коммуникативной ситуацией, носит ритуально-информационный характер. Первая часть, от имени умершего, прежде всего напоминает по своему ситуационному характеру момент традиционно понимаемого прощания, широко представленный в думках на территории Царства Польского, как, например: “А призовите ко мне всю мою семью, / Пусть я прощусь с ней в последний час” [9. S. 142]. С точки зрения построения эта часть повторяет структуру, характерную для всех остальных опубликованных В. Кулей писем польских эмигрантов. Эти письма характеризует достаточно четкое построение, основанное на ситуации “встречи”, “разговора” и “прощания” (“прощание” в цитируемом письме представлено словами Я. Стшельца, повторяющего зачин в третьем лице). Следует отметить, что эти три ситуации в случае письма являлись исключительными, важными как для отправителя, так и для получателя. По силе воздействия и социальному аспекту написание и получение письма в изучаемый период в крестьянской среде можно даже сравнить, например, с такими общественно значимыми ситуациями, как помолвка, проводы в армию, свадьба, похороны.

Структура письма крайне ритуализована, особенно это касается ситуации “встречи” и “прощания”, когда используются ритуальные словесные формулы, в которых прежде всего благословляется Иисус Христос, как это и делалось в реальной ситуации встречи. Однако в сознании отправителя письма “благословение” становится символом, который следует объяснить. Ст. Черник отмечает, что для народной поэзии характерен прием объяснения привнесенных символов [10. S. 284], что находит подтверждение и в письмах эмигрантов: “Пусть это письмо не преступит порога как восхвалит Бога да благословен будет Иисус Христос. Перо в руку беру и вам здрасте говорю, за стол сажусь и с вами разговор веду” [4. S. 171]. Подобные формулы характерны и для писем в народную газету: “Пусть это мое неумелое письмо войдет в ваш дом, уважаемый Редактор Газеты Швэнтэчнэй, с глубоко сердечным приветом. Да благословен будет Иисус Христос! Пусть Бог и вам и мне поможет, благословит наш труд! Вы, Пан Редактор, там трудитесь на своем ниве, а я на своей; но мы одной жизнью живем и честно трудимся, только труд наш отличается один от другого” [11]. Такого рода формулы-клише могли быть заимствованы из деревенского фольклора, письмовников, ярмарочных стихов, “ученой” поэзии (см.: [12. S. 49]). Судя по письму, которое представлено целиком выше, можно говорить о том, что эти формулы несут в изучаемый период не только декоративный, но и ритуальный, наполненный магическим и социальным содержанием характер, что подтверждается второй частью письма Я. Стшельца, которая лишена этих формул, лишена социального багажа, да и кланяется он на прощание от имени умершего, так как является чужим для тех людей, к которым пишет письмо. В письме к родственникам заключительная часть письма, “прощание”, связана всегда с поклоном и зачастую перечислением имен родственников.

Крестьянские письма практически лишены интимного характера. Крайне редко встречаются письма к одному человеку, и, как правило, это письма любовные, переполненные лирическими элементами: “Несколько слов, что я пишу тебе, мне очень приятны, кажется мне, что с тобой говорю, но через минуту смотрю я в окно и вижу огромное море, которое меня от тебя отделяет (потому что я живу у самого моря)” [4. S. 170]. В основном крестьянские письма носят общественный характер, это письма ко всей семье. Именно поэтому после приветствия в письме начинается перечисление всех родственников. Эта же функция характеризует и письма в газету: “Беру я

перо в руку чтобы высказаться перед всеми читателями о задачах народной прессы и ее направлении а намереваюсь я выразить свое мировоззрение” [13].

Функция письма определялась традиционной культурой – письмо являлось сбором новостей, важных как для отправителя, так и для получателей, давало возможность отправителю участвовать в жизни своей семьи за океаном, являлось знаком или эквивалентом контакта или действия. Благодаря этому сохранялась память об уехавшем человеке, который уже на воображаемом уровне продолжал участвовать в жизни всей семьи [14. S. 80]. В случае газеты круг людей расширялся, “братья и сестры” были объединены уже не родственными связями, а идейными.

Письмо в крестьянской среде было эквивалентом разговора. Очень часто в письмах встречается приветствие: “Да благословен будет Иисус Христос”, и одновременно ответ: “Во веки веков”. Отсутствие этого ответа в реальной ситуации означало бы отказ от продолжения беседы [15. S. 23–24]. Письмо воспринималось как разговор не только среди безграмотных крестьян, которые “писали” и “читали” письма с помощью “ученых”, но и среди читателей народных газет: «Я пишу своей рукой в Варшаву, чтобы заказать “Газету” на следующий год, т.к. я хочу и дальше через нее с вами разговаривать» [16].

Текст письма, газеты воспринимался крестьянами как перенесенный на бумагу (например, в цитируемом письме Я. Стшельца умерший прощается с семьей с помощью “этой белой бумаги”) “живой”, т.е. устный, ограниченный ритуалом текст. Именно ритуальный характер этих писем объясняет, с моей точки зрения, то, что “пишутся” они, как отмечает Ч. Хэрнас, из “алфавита готовых клише”, а не из “алфавита отдельных слов” [12. S. 49]. Письма в газету также находились под влиянием определенного ритуала, вобравшего в себя как представления о ритуализированном разговоре в крестьянской среде, так и созданные под влиянием народных газет элементы “нового фольклора”: “Я беру перо в руку, хочу писать по памяти, но я задумываюсь, в моей голове не помещается, как это я, крестьянин от плуга, низкогословия, должен выслать письмо в Варшаву великому пану” [17].

Характерной особенностью крестьянских писем являются как их многофункциональность, так и определенная подмена значения самого письма (“Солнце всходит и заходит, а мое письмо в путь уходит, как придешь к порогу благослови Господа Бога, а как подойдешь ближе поклонись моей Стосе как можно ниже, да благословен будет Иисус Христос” [4. S. 411]). Именно эта особенность крестьянского письма дает возможность проведения параллелей между ними и привнесением и функционированием других новых элементов в крестьянской среде. П.Г. Богатырев обращал внимание на функционирование у крестьян новых элементов в одежде, примером чему служат калоши, которые были в большой моде в дореволюционной российской деревне. “Но крестьяне, и главным образом молодежь, – писал он, – носили их преимущественно не в грязь, а в праздничные и солнечные дни. Основной функцией калош в городе является предохранение ног от сырости и грязи, основной функцией тех же калош в деревне является функция эстетическая. В калошах каждый парень красавец” [18. С. 362]. Кроме эстетической функции новый элемент мог обрести культурным багажом, характерным для прошлого того или иного региона, мог быть объединен с элементами традиционной культуры, такими, например, как новые обряды, традиции, которые возникли на территории Центральной Польши в связи с появлением картофеля [19. S. 81]. Письмо было своего рода “калошами”, “картофелем” в том смысле, что, придя в крестьянскую среду, оно не изменило отношение крестьян к письменности, а, в первую очередь, приняло на себя те важные для традиционного общества функции, которые могли быть утрачены под влиянием новых обстоятельств, таких, как, скажем, эмиграция из Царства Польского в Бразилию и США в конце XIX в.

Отношение крестьян к католической церкви в конце XIX–начале XX в. в Царстве Польском нашло выражение в движении мариавитов (*guch mariawityw*) и в движении зараняжей (*guch zaraniarzy*). В 1893 г. М.Ф. Козловская испытала откровение

свыше и основала движение мариавитов (от лат. Maria и vita) с целью поклонения Божией Матери и следования ее жизни. Весной 1906 г. секта мариавитов по решению Римского Папы была отлучена от костела; однако позднее российское Министерство внутренних дел признала секту в качестве самостоятельной церкви. Движение зараняней сформировалось вокруг еженедельной газеты для крестьян “Zaganie” (1907–1915), которая выпускалась в Варшаве М. Малиновским. Это было радикально-демократическое издание, связанное с людовским движением (от польск. lud – ‘народ, крестьянство’, название польской крестьянской организации конца XIX–XX вв.). Газета была закрыта царскими властями в мае 1915 г., а Малиновский со 160 крестьянами-зараняжами вывезен в Москву для разбирательств. Эти разные по своей сути движения (религиозное и светское) объединяла критика католической церкви в Царстве Польском, которая касалась прежде всего деятельности священников.

Ю. Окраска, один из корреспондентов газеты “Gazeta Świąteczna”, жаловался, что “в воскресенье и праздники столько молящихся, что в костеле из-за жары и толкотни тяжело выдержать” [20]; Можно без преувеличения сказать, что во второй половине XIX в. эта ситуация была скорее нормой, чем исключением. Однако, как отмечал в своих воспоминаниях один из деятелей людовского движения А. Богуславский, “в костел людей тянуло не только желание помолиться, выслушать проповедь, но и желание общения, желание показать себя, понравиться другим” [21. L. 79]. “Многие и не помнят, что нужно пред Богом раскаяться за свое плохое поведение. Поэтому и костел наш ободран, запущен, с дырами в своде, а во время мессы некоторые ведут себя в доме Господнем совсем не так, как должны. Они забывают, что приходят благодарить Господа за его благодеяния” [22], – сообщал корреспондент из Седлецкой губернии.

Ситуация менялась, когда речь шла о путешествии за океан. В. Куля пишет, что “воды боялись все” [4. S. 53]. Путешествие за океан, в Бразилию и США, было, как представляется, событием исключительным по непредсказуемости всего предприятия. Обостренное восприятие опасности, возможность близкой смерти наполняли молитвы эмоциональным содержанием. Ф. Пломяноски сообщил брату, что “как буду садиться на корабль то пойду на исповедь потому как все люди ходят которые на корабль садятся. Просите за меня Бога, чтобы я счастливо доехал а я о вас не забуду, я буду ехать кораблем через два моря” [4. S. 132].

Жизнь в Бразилии и США оценивается эмигрантами в категориях жизни в Царстве Польском. Тема религии позволяет увидеть, что считалось нормой, чего боялись и что хотели получить крестьяне, приехав в новую страну. Прежде всего боялись того, что попадут к некаталикам, что католической религии в новых землях не будет. Анджей Борковский из Параны сообщал родителям, что “у нас в Польше говорили, что мы будем жить без религии, это неправда потому как у нас тут есть ксендзы и епископы а кто хочет может и обряд миропомазания совершить и все здесь так как в Польше” [4. S. 160]. Эмигранты успокаивали родственников тем, что они, хоть и находятся в чужой стране, языка не знают, но зато среди католиков. На основании писем можно сделать вывод, что наличие поблизости костела или часовни являлось показателем благополучия семьи. Обустройство на новом месте прежде всего было связано у крестьян с воссозданием жизни, которая была в их деревне. Казимеж Грабовский просил родственников: если будут ехать в США, захватить одеяла, одежду, зонтик, молитвенники [4. S. 268]; Адам Лабуда вспоминает и об иконах [4. S. 187]; эмигранты в Бразилию просили, кроме того, привезти семена и оружие. Как видим, просьбы носили ностальгический, но вместе с тем и практический характер.

Религиозная жизнь на новом месте оценивалась по-разному. Основная проблема была связана с незнанием языка: “Язык тут португальский, мы ничего не понимаем если они чего нам говорят, а как мы чего говорим, они ничего не понимают. Португальский ксендз мессу ведет на латинском языке так как у нас в Польше, а языка его мы не знаем, а он нашего не знает”, – сообщал Каетан Новак [4. S. 199]. Польский ксендз нужен был в первую очередь для того, чтобы проповедь и исповедь проходи-

ли на понятном языке. “Это правда, что в Америке хорошо, но на том свете будет беда; т.к. мы один другому не можем дать спасения. Ксендзы у нас польские (здесь читай: католические. – М. К.), но по-польски не говорят, только по-немецки ведут проповедь и выслушивают исповедь ... Беда тому, кто заболает из нас бедных поляков потому что много людей болеет и умирает без ксендза. В Нью-Йорке и других городах есть польские костелы и польские ксендзы, но там нет работы” [4. S. 309].

В представлении польских крестьян, путь к спасению лежал через “правильное”, зачастую строгое исполнение своих обязанностей перед Богом, что требовало саможертвования верующих. Я. Сломка отмечал в воспоминаниях, что в его деревне во второй половине XIX в. “посты так строго соблюдались, что на протяжении года по пятницам и субботам нельзя было есть даже с молоком, а в великий пост с первого дня до пасхального воскресенья молочные продукты не использовались, а в еду добавлялось только растительное масло. Даже от малых детей прятали сыворотку, чтобы они ее не напились и не нарушили тем самым поста. Если кого замечали, что в постные дни ел с молоком, а что еще хуже ел мясо, то показывали на него пальцем как на еретика и ненавидели его” [23. S. 79]. Во многих письмах эмигранты удивляются тому, что местное население не относится строго к своим религиозным обязанностям, не соблюдает все посты и праздники. Отсутствие строгости в отношении исполнения важных, с точки зрения крестьян, религиозных обязанностей, определенной доли аскетизма, например, скромности в еде, вело к потере спасения. Одна из крестьянок писала тетке, что “в Америке телу хорошо но душе необязательно хорошо. Тело может пить и гулять, но из-за этого можно потерять душу, т.к. то что у нас пан съест в воскресенье то в Америке простой крестьянин съест в субботу” [4. S. 235].

Разные мнения существовали об эмиграции. Один из читателей газеты “Zaranie” писал, что “если кто должен ехать в Парану, то пусть лучше с моста в воду прыгнет, меньше пострадает” [24. Л. 1]. В письмах эмигрантов, задержанных российскими властями, новая страна пребывания в сравнении с Царством Польским представляется как земля обетованная. Встречаются и такие фразы: “Нечего равнять Америку с русской страной вонючей” [4. S. 268]. С точки зрения религиозной жизни, в Бразилии и США, по мнению крестьян-эмигрантов, лучше, так как костелов и священников больше, обучают катехизису, мессы проходят более красочно, убранство в костелах и на улицах богаче, а главное, крестьяне оказываются в ситуации, когда они могут напрямую влиять на ксендза, их слово становится законом. Зофья Надровская сообщала, что “Чикаго – чистая Польша, польские песнопения услышать можно в Костеле, обучение катехизису отличается от вашего, очень весело проходит так, что о тоске забудешь” [4. S. 348]; из Сан-Паулу семья Гонщеровцев писала, что “карнавала такого мы еще и не видели” [4. S. 170]; по словам Яна Ветшиковско-го, в Бразилии “костелов больше чем в Польше и ксендзов также, народ собран со всего мира одни католики” [4. S. 224]. Хвастаются в письмах именно тем, чего хотелось, а не было в родной стороне. Отметим, что во многих письмах в “Gazeta Świąteczna” на протяжении второй половины XIX в. отмечалось, что некоторые сельские храмы стояли в Царстве Польском закрытыми более 40 лет из-за ветхости или отсутствия ксендза, часто в письмах встречались жалобы на отсутствие органа, пения и на грязь в костеле.

В Царстве Польском священник назначался в приход высшей церковной властью, при этом он оценивался крестьянами в соответствии с их представлениями о том, каким должен быть “правильный” ксендз. Обычно церковные власти не прислушивались к мнению верующих (свидетельством тому – жалобы крестьян в “Gazeta Świąteczna” об отказе церковных властей вернуть полюбившегося ксендза, которого по каким-то причинам перевели в другой приход), поэтому, если священник крестьянам не нравился, они отвечали саботажем. Так, в одном из писем сообщается: “Ксендзу соответствующего уважения не оказывают, только нескольких назвать можно, которые являются истинными католиками и немного более образованы; другие же не хотят слушать советов и предостережений священника, которые он им

проповедует с амвона в воскресенье и праздники, – а есть еще и такие, что смеются и издеваются над его словами” [25].

В ситуации эмиграции стало возможным непосредственное влияние на ксендза. Например, Якуб Булатовский, уговаривая жену приехать к нему в США, писал, что “ксендз польско-католический приезжает к нам из Нью-Йорка так часто, как нам нужно – исповедь выслушает, мессу отправит и проповедь по-польски проведет” [4. S. 245]. Можно предположить, что своего рода результатом стремлений крестьян-эмигрантов явилось набравшее силу под конец XIX в. старокатолическое движение в Новом Свете, одним из проявлений которого стала Польская национальная католическая церковь в США, с 1900 г. независимая от Апостольской столицы.

В книге, посвященной крестьянству, В. Куля и Я. Коханович пишут: “Складывается впечатление, что среди польского крестьянства, эмигрировавшего в конце XIX в. в Бразилию и США, доминировали еще не крестьяне-пролетарии, а лишь находившиеся под влиянием пролетаризации. Бегство за океан, в сказочную землю молочных рек и кисельных берегов должно было спасти от влияния пролетаризации” [26. S. 49–50]. Добавлю от себя: и привести к воссозданию “идеального” мира. Один из эмигрантов так видел свое ближайшее будущее в Бразилии: “Обработаю кусок земли, дом правительство поставит, ксендза нам пришлют к 10 марта для проведения обрядов крещения и венчания” [4. S. 175].

В письмах крестьян-эмигрантов часто встречаются противопоставления “мы – вы”; “у нас – у вас”; “наше – ваше”. В земле обетованной и климат теплее, “у каждого хозяина своя водка, сам гонит, налогов нет” [4. S. 191]; “скотину можно разводить, кур, уток, гусей, свиней” [4. S. 174], “беды нет” [4. S. 182]. Бразильские письма переполнены романтикой, это письма крестьян, которые ехали за землей, о которой мечтали из поколения в поколение: “Бразилия – это страна обширная, такая, что всех поляков поместить может и еще место будет, а еще это страна красочного изобилия” [4. S. 175]; письма из США – это письма людей, которые хотели заработать денег, вернуться домой и купить земли: воплотить свою мечту о счастье в родной стороне. По своему характеру цель эмиграции и в Бразилию, и в США может быть описана в рамках охранительной тенденции, когда стремления крестьянского мира были направлены на воссоздания доиндустриальной ситуации, но на более высоком уровне, который должен был соответствовать крестьянской мечте о счастье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Moraszewski M.* Z okolic Lomży // *Gazeta Świąteczna.* 1902. № 1097.
2. *Chomać R.* Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. Warszawa, 1970.
3. *Baines D.* Emigration from Europe 1815–1930. Macmillan, 1993.
4. Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890–1891 // Do druku podali, wstępem opatrzyli W. Kula, N. Assordobraj-Kula, M. Kula. Warszawa, 1973.
5. *Walaszek A.* Chłop i praca w przemyśle amerykańskim. Pole semantyczne słowa “roboty” w listach emigrantów polskich ze Stanów Zjednoczonych z lat 1890–1891 // *Etnografia Polska.* 1990. Z. 1–2.
6. *Thomas W., Znaniecki F.* The Polish Peasant in Europe and America. Monograph of an Immigrant Group. Boston, 1918. T. I–IV.
7. *Шанин Т.* Путешествующие крестьяне и трудящиеся мигранты // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. Хрестоматия. М., 1992.
8. *Лотман Ю.М.* Семиотика культуры и понятие текста // Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам. 1981. Т. XII.
9. *Chełchowski S.* Materiały do etnografii ludu z okolic Przasnycza // *Wiśła.* 1888. T. 2.
10. *Czernik S.* Stare zdjęcie. Warszawa, 1962.
11. *Czytelnik.* Ze wsi Parchatki na powiślu lubelskim // *Gazeta Świąteczna.* 1901. № 1048.
12. *Hernas Cz.* Listy miłosne z Łąki // *Literatura Ludowa.* 1972. № 1.
13. ГАРФ. Ф. 1167. Опись 1. Ед. хр. 1491. Л. 2. Статья Зтальяницкого Юзефа “Голос крестьянина из Ломжи” в редакцию газеты “Заране”.
14. *Sulima R.* Dokument i literatura. Warszawa, 1980.

15. *Bereza H.* Odzyskane źródła // *Regiony*. 1975. № 1.
16. Jak ubogi ojciec dzieci wyposażył // *Gazeta Świąteczna*. 1898. № 936.
17. *Lyczba Fr.* Ze wsi Grodziska w powiecie radomskim, gubernii piotrkowskiej // *Gazeta Świąteczna*. 1900. № 1029.
18. *Богатырев П.Г.* Функции национального костюма в Моравской Словакии // *Богатырев П.Г.* Вопросы теории народного искусства. М., 1971.
19. *Baranowski B.* Początki i rozpowszechnienie uprawy ziemniaków na ziemiach środkowej Polski. Łódź, 1960.
20. *Okraska Józef.* Z pod Kiernozi w powiecie sochaczewskim // *Gazeta Świąteczna*. 1891. № 567.
21. Zakład Historii Ruchu Ludowego Archiwum przy NK ZSL. Sygnatura 0–70. *Bogusławski A.* Czytelnicy "Gazety Świąteczna" i "Zorzy" oraz innych czasopism w gminie Woźniki powiatu piotrkowskiego w okresie 1900–1907 r. na tle stosunków społeczno-gospodarczych i kulturowych okręgu.
22. *Łubiański.* Z Parysowa w powiecie garwolińskim // *Gazeta Świąteczna*. 1891. № 597.
23. *Słomka J.* Pamiętnik włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Tarnobrzeg, 1994.
24. *ГАРФ.* Ф. 1167. Опись 1. Ед. хр. 1495. Л. 2. Статья Опалько "Эмиграция с родины", присланная в редакцию газеты "Заране".
25. Przedpłatnik Gazety Łukasz Tworkiewicz. Z parafii kwiatkowic, gminy wodzieradw w powiecie łaskim, gubernii piotrkowskiej // *Gazeta Świąteczna*. 1887. № 357.
26. *Kula W., Kochanowicz J.* *Chłopstwo*. Problem intelektualny i zagadnienie nauk społecznych. Warszawa, 1981.



© 2003 г. А. А. ЗАВАРИН

СТРАНИЦЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Алексей Алексеевич Заварин принадлежит к тому поколению русских людей, которые уже родились вне пределов России, откуда были изгнаны их родители.

Немного слов об авторе воспоминаний. А.А. Заварин родился в Королевстве сербов, хорватов и словенцев в г. Сомбор 3 мая 1926 г. Его отец – Заварин Алексей Константинович, – участник Гражданской войны, по профессии ветеринарный врач, сын священника из Ярославской губернии. Мать – Ия Александровна Щепкина, родилась в Старооскольском уезде Курской губернии. Ее дед по материнской линии – Александр Николаевич Щепкин, служил мировым судьей в том же уезде и являлся внуком знаменитого русского актера Михаила Семеновича Щепкина. Супруга деда Александра Николаевича Любовь Владимировна Щепкина, урожденная фон Фрейман, была, в свою очередь, внучкой Любови Владимировны Томилиной, урожденной Станкевич. При этом отец А.Н. Щепкина, Николай Михайлович Щепкин, был женат на Александре Владимировне Станкевич.

А.А. Заварин жил в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. – Королевство Югославия) в г. Сомбор, Нови-Сад, Ниш, учился в сербской гимназии. В 1942 г. уехал на заработки в Германию, где работал на заводе по производству электрических проводов, о чем идет речь в публикуемых воспоминаниях, посещал вечерние конструкторские курсы в Берлине. В 1945 г. переехал из советской зоны оккупации в американскую (в Нижнюю Саксонию). Сменил несколько лагерей для беженцев. Успел закончить гимназию в одном из них и овладеть английским языком. В 1947 г. поступил на очное отделение физического факультета Геттингенского университета, в котором проучился пять семестров. В 1950 г. переехал в США. Работал по сортировке ковров, на земляных работах, готовил пиццу в ресторане и т.д. Поступил на физический факультет университета в Беркли, где ему зачли предыдущие пять семестров в Геттингенском университете. Вскоре был призван в армию, стал военным картографом, закончил военную инженерную школу. Был отправлен в Корею, где служил чертежником. В 1952 г., после увольнения из армии, продолжил учебу в университете в Беркли, который окончил в 1954 г. Свои знания затем А.А. Заварин совершенствовал в инженерном институте по электричеству, по окончании которого защитил диссертацию. В 1953 г. он получил досрочно (как участник корейской войны) американское гражданство. С 1956 г. вплоть до выхода на пенсию в 1987 г. работал в Силиконовой долине.

Первый раз А.А. Заварин посетил Россию только в 1986 г.

История судьбы А.А. Заварина предстает прежде всего через его встречи с людьми разных положений и в различных ситуациях, а также через само бытие времени,

о котором нередко забывают историки. Именно черты быта позволяют узнать больше об эпохе, чем иные книги.

Воспоминания публикуются с согласия А.А. Заварина. Сердечно благодарю за любезное содействие Александра Николаевича Мирошниченко (Сан-Франциско), предоставившего мне возможность ознакомиться с рукописью А.А. Заварина.

* * *

Через несколько недель после капитуляции Югославии началось некоторое сопротивление немецкой оккупации... Первые выступления против немецких оккупантов были незначительными и заключались главным образом в перерезании проводов телефонного и телеграфного сообщения. Немецкая реакция не была резкой. Они главным образом обращались к местной сербской администрации, чтобы те навели порядок... Положение в стране стало резко меняться, когда 22-го июня Германия напала на Советский Союз. Мне запомнились этот день и это утро. Прошел легкий дождь, и на небе появилась радуга. На улице шли разговоры, и каждый объяснял это явление на свой лад. Некоторые видели на месте радуги сербский трехцветный флаг. Было много разговоров и волнения.

Разговоры о готовящемся нападении Германии на Советский Союз начались уже недели за две. Наша соседка, Александра Попович, мать нашего друга Ненада, сообщила нам тогда, что немцы сконцентрировали на советской границе свыше трех миллионов солдат. Немецкие солдаты, которых вызывали в Германию, тоже говорили, что идут воевать "mit Russland", т. е. "с Россией"... В Хорватии хорватские фашисты, усташы, зверствовали и буквально вырезали сербское население. По реке Сава, которая течет из Хорватии в Сербию, плыли обезображенные трупы сербов... Молодежь стала уходить в горы и леса к четникам и партизанам. Правда, и в самой Хорватии было много недовольства, так что и партизаны Тито в Хорватии стали быстро увеличиваться в числе. Разобраться, где какие партизаны или четники, людям было трудно. Да было и много разных отдельных, еще не организованных групп. У нас их всех называли просто "Шумци", т. е. "лесные".

Положение в стране стало быстро обостряться. Шумцы стали делать вылазки, взрывать поезда и разбирать железнодорожные рельсы. Продукты стали исчезать. Немцы стали применять репрессии – арестовывать, расстреливать и вешать. 16 сентября Гитлер издал указ, что за каждого убитого немецкого солдата будут расстреляны 100 сербов, за каждого раненного – 50 и за каждого убитого болгарского солдата – 10. Этот указ был напечатан на немецком и сербском языках и развешан у нас по всему городу. Если бы я был болгарин, то был бы очень обижен...

В Югославии коммунистическая партия была законом запрещена, но коммунистов не преследовали, кроме, может быть, на самых верхах. Но как я потом узнал от одного агента югославской полиции, все коммунисты были на учете... После начала войны с Советским Союзом и большой деятельности партизан и четников, в городе всегда держали арестованных заложников. Вначале брали евреев и известных коммунистов. В самом начале оккупации евреи должны были на груди носить желтый значок с шестиконечной звездой Царя Давида. Цыган тоже поместили желтым значком, но каким – не помню. Цыгане не понимали, что этот значок – знак унижения и даже гордились, что их приравнивали к евреям, которые были более богатыми и знатными. Впоследствии немцы не преследовали цыган, но определили их закапывать расстрелянных. Так что от цыган узнавали, кого в городе расстреляли. Так мы узнали, когда расстреляли торговца книгами Шишковича, у которого мы покупали учебники для гимназии. Многих учеников арестовывали, и они исчезали... Так исчез Генин одноклассник еврей Дойч, очень милый и хорошо воспитанный молодой человек. Был арестован и тоже исчез сын нашего соседа напротив, сербского капитана Живота. Сказали, что он был в коммунистической партии...

Немцы тоже ввели публичную порку, и в городе осужденных привязывали и лупили, кажется, кнутом. Это наказание было за более мелкие преступления, такие как спекуляция на черном рынке... В это время немцы очень активно вербовали народ на работы в Германию. Говорили, что немцы нарочно создавали эту атмосферу страха и падения экономики, чтобы люди ехали в Германию... Им нужны были люди, которые бы активно работали в промышленности, рядом с немецкими рабочими: слесари, механики, лаборанты, электрики, инженеры и просто рабочие на станках. Для таких работ немцы предпочитали не арест, а нажим и создание особых условий.

Интересно, что как только вы записались на работы в Германию, вы попадали в относительную безопасность. Вам выдавали документ, что вы ждете следующий транспорт на работы в Германию. Вас уже не могли арестовать, взять в заложники или отправить на охрану железных дорог. Насколько я помню, от вас не требовали никаких документов, и вас не проверяли. Вы давали только устные данные о себе. Так что если вас преследовали или над вами висело какое-либо преступление, вы могли просто скрыться в Германии. Выражаясь иначе, после записи на работы в Германию все ваши прошлые "грехи" просто смывались. Я знал многих партизан, которые оказались отрезанными от своих частей и без документов, которые просто записались на работы и уехали в Германию. У вас даже был выбор, в какой город и на какой завод вы поедете работать. Всегда можно было пойти в бюро труда и узнать, куда в данное время идет запись. Рабочим в Германии платили немецкими марками, и им была дана возможность переводить часть заработанных денег своим родным в Сербию по выгодному курсу.

От уехавших в Германию стали доходить вести, что кормят неплохо, жизнь возможная и, главное, над вами не висит этот страх и произвол. Можно ходить в пивные и в кино. Работай, и ты во всем обеспечен.

Конечно, в нормальное время мы бы никогда и не подумали ехать на работы в Германию. Разбивать семью, бросать свое любимое гнездышко, прерывать образование и ехать в чужой мир, работать на фабриках, жить в лагерях. Но как говорят: "Не до жиру, быть бы живу"...

Это была наша первая поездка в Германию... Проехав Хорватию и перерезав границу Третьего Райха, мы прибыли в Марибор. Поезд остановился в пересылочном лагере, окруженном проволочным забором...

Оказалась, что фабрика бумаги, куда мы направлялись, находилась не в городе Нордхайме, а в более маленьком городке Херцберге. Нордхайм же был главным городом этой местности... Лагерь для мужчин находился на верхушке холма, на окраине города, так что нужно было подниматься вверх по дороге. Собственно, весь лагерь состоял из одного барака без всякой ограды. Внутри были две большие комнаты, уборная и умывалка. Для нас, т.е. для рабочих из Сербии, предназначалась первая комната. Вторая комната, ближе к уборной, была еще пустой, и там после поселили рабочих из Италии. В нашей комнате находилось семь двойных нар, расставленных вдоль двух стен, так что комната предназначалась для четырнадцати душ. Между нарами стояли шкафы с двумя дверками. Каждому человеку полагалось полшкафа для вещей и для продуктов. Каждый мог замкнуть отдельно свою половину шкафа. В середине комнаты, между нар, находился длинный стол и стояли скамейки. В середине комнаты стояла небольшая печь с длинной трубой. Печь предназначалась для отопления, но на ней можно было нагревать воду или что-либо варить. Топили печь коксом, и комната хорошо нагревалась. В коксе не было недостатка. В комнате было четыре окна, по два в каждой стене, где не стояли нары. Комната освещалась электричеством, и каждый вечер окна нужно было закрывать деревянными ставнями для затемнения на случай возможных воздушных атак. Вся мебель и все стены комнаты были из некрашеного дерева, и в комнате всегда стоял... запах смолы.

Рядом с нашим баракком находился второй барак, окруженный проволочной оградой, где размещались французские военнопленные. Они тоже работали на заводе, и

их водил немецкий солдат. Правда, их держали не очень строго, и они иногда ходили без охраны.

Сам бумажный завод находился внизу под холмом. Там уже дорога превращалась в улицу города. Сам город Херцберг был небольшим с населением в две или три тысячи. Была там одна главная улица, где находились одноэтажные небольшие магазины, т.е., скорее, просто лавочки.

Женщин разместили в одной комнате в большом доме возле завода, который принадлежал женскому лютеранскому монастырю. В доме жили несколько лютеранских монашек под начальством старшей сестры, или по-русски – игуменьи. Это было отделение большого монастыря, который находился неподалеку, в другом городе. В обязанность этого отделения монастыря входило кормить и распределять паек всем иностранным рабочим этого завода.

Должен сказать на основании личного опыта, что старшая сестра и остальные монашки были необыкновенно добрыми и порядочными. У меня создалось впечатление, что они по-настоящему ушли из мира, чтобы служить Богу и людям, служить добру. Не смотря ни на что они всегда были приветливыми и всегда готовы помочь.

Это был один из примеров моего жизненного опыта, который меня глубоко убедил, что, как говорит русская поговорка, “Мир не без добрых людей”. И сколько этих добрых людей пришлось еще встретить! Людей добрых, независимо от их национальности, вероисповедания, образования или профессии. Богатых или совсем бедных. Людей, всегда готовых помочь в беде, людей бескорыстных, добрых самарян. Тяжело бы было выжить в этом мире без этих добрых людей.

... Вообще, за нашей жизнью в лагере мало наблюдали. Был какой-то администратор, который заведовал лагерем, но я не помню ни одного раза, чтобы он заходил в наш барак. Одним словом: живите себе, как хотите, а ко мне не приставайте...

К вечеру нам принесли паек на неделю. Паек был разделен поименно, и все было аккуратно упаковано. Этим заведовали монашки. Была там колбаса – грамм триста, пакетик сахара, пакетик “мармеладе”, т.е., по нашему, – варенья, маргарина около ста граммов и 62.5 грамма сыра. 62.5 грамма – т.е. одна шестнадцатая килограмма сыра – это была стандартная величина маленького круглого сыра по названию “Harzer Kaeze”, т.е. “Харцевский сыр”. Харц – это было название местности, где был городок Херцберг. Сыр страшно вонял, но мы к нему привыкли и даже полюбили. Теперь его привозят в Америку, и он является дорогим деликатесом. Небольшая часть полагающихся жиров и мяса удерживали на горячий обед и ужин. Но самая главная часть пайка – это был, конечно, хлеб. Хлеб выдавали в зависимости от тяжести работы. Было три категории работы: нормальная, тяжелая и сверхтяжелая. Женщины попали на нормальную, большинство мужчин – на тяжелую, и один из нас – на сверхтяжелую. Мы все гадали, кто попал на сверхтяжелую, но все выяснилось, когда раздали паек. К несчастью, на сверхтяжелую попал я...

Получил я на неделю три килограмма хлеба с небольшим довеском. Хлеб здесь пекли по два и три килограмма, и мы их так и называли: “двокильцы” или “трокильцы”. На следующие восемь лет этот хлеб или милый хлебушко, был главным предметом желанья и мечтанья.

Иногда теперь в Америке я покупаю этот сорт немецкого хлеба. Я закрываю глаза и нюхаю этот хлеб, и мне возвращаются те времена и те моменты, когда так больно хотелось этого хлеба. И я вспоминаю свои мечтания и с наслаждением ем этот хлеб.

Вообще, все эти продукты, кроме хлеба, можно было бы съесть за один день. Но они, главным образом, предназначались, чтобы делать бутерброды на завтрак. На заводе делали чай из некоей травы, и во время перерыва мы ели свои бутерброды и запивали чаем. На хлебе нужно было делать надрезы, чтобы знать, сколько можно было съесть каждый день. В течение времени этот хлебный паек все время уменьшался.

На обед главной основой была всегда вареная картошка. К ней добавляли разные вареные овощи. Очень вкусно готовили красную капусту. К картошке обычно давали и соус, который пах мясом. На десерт давали чашку “puding”, что-то вроде густого киселя. На ужин давали суп или что-то вроде каши. На обед картошки давали вволю, но очень скоро мы себя почему-то опять чувствовали голодными. Возможно, это была перемена привычной пищи...

Несколько дней спустя, когда я пришел на работу, я заметил среди рабочих нашей бригады незнакомого мне рабочего. Возможно, его перевели из другой смены. Был он высокого роста, немного сутулый, лет сорока пяти. Рабочие что-то говорили, смотрели на меня и потом подошли ко мне. Незнакомец шел некоей развалистой медвежьей походкой. Он подошел прямо ко мне, внимательно посмотрел и вдруг обратился ко мне на русском языке: “А ты какому рукоделью учился? Ну, скажем, на попа или на что другое?” Я сказал, что я учился в гимназии.

Так началось мое знакомство и дружба с Андреем Пашковым, военнопленным Первой мировой войны, родом из Орловской губернии. ... Когда еще была зима, и происходило сражение обороны Москвы, Андрей мне сказал, что под Москвой русские окружили много немцев. В его словах я как-то почувствовал некоторое удовлетворение. Старый русский солдат в своем сердце не забывал свою Родину.

Когда в городе появились несколько русских военнопленных Красной армии, которые работали по починке дорог, то Андрею удалось с ними немножко поговорить. Он мне передал этот разговор. Он к ним подошел и заявил: “Ваш большевизмус пропадет!” Они ответили, что не пропадет, у нас там, мол, много всего припасено. Тогда он их спросил, почем в России хлеб. Они назвали цифру. Тогда он сказал: “Да при мне столько хлеба можно было за пятак купить”. Они ответили, что это так, “...но сколько мы теперь зарабатываем?” Кажется, это и был весь разговор со своими земляками после двадцати семи лет...

Теперь я хочу сделать небольшое отклонение в другую тему. Я стремлюсь описывать события и мои впечатления так, как я их видел и чувствовал, т.е. писать правду так, как я ее воспринимал. Люди часто описывают события так, чтобы их согласовать с какой-либо общепринятой идеологией. Победители всегда бывают правы. Они всегда всех освобождают, а не покоряют. Пораженный враг всегда оказывается преступником и негодяем, а победитель праведным судьей. Иногда это может быть и так, но не всегда. Но всегда творится новая история, и всем участникам предписывается их место и роль в этой истории. Я часто бывал в положении, когда от меня ожидали, что я буду играть эту предписанную роль. Например, я мог оказаться в предписанной роли жертвы режима. От меня ожидали, что я буду благодарить своих благодетелей-освободителей, описывать свои страдания и восторженно восхвалять доблестных героев – борцов за правду. Очень часто такая роль совсем не соответствовала тому, что было. С одной стороны, не хотелось разочаровывать людей, которые ко мне хорошо относились и мне сочувствовали, но, с другой стороны, тогда бы пришлось врать и фальшивить. И, наверное, относились бы ко мне хорошо, пока бы я играл эту роль, приятную им. А то, скажи правду, и вас сразу приписывают к фашистам, или коммунистам, или к чему угодно...

Город Херцберг, где мы жили, был маленьким, но красивым городком. Я бы его даже назвал, скорее, не городом, а поселком. Официально его называли “Bad Herzberg”, что значит “Баня Херцберг”, т.е. курорт. Находился он в местности “Harz Gebirge”, т.е. “Горы Харца”, в Нижней Саксонии. Эту красивую местность воспел в своих стихах немецкий поэт Гейнрих Гейне. Поскольку Гейне был немецким евреем, а привечество Германии было антисемитским, то им как-то хотелось умалить или уничтожить этот факт. Поэзия Гейне была слишком известна и популярна, чтоб ее просто изъять. Но в книге Антологии немецкой поэзии под известным стихотворением Гейне “Lorelai” было подписано: “Поэт неизвестен”.

Итак, ради искусственной идеологии, власти Германии хотели отречься от своего поэта, который любил и воспевал красоты немецкой земли, и я уверен, был немец-

ким патриотом. Но от его поэзии, т.е. от его дара Германии, они отречься не хотели и шли на сознательную ложь и воровство...

Мы ожидали, что после шести месяцев мы сможем вернуться... начали собираться в обратное путешествие... Утром мы сели в поезд и скоро пересекли границу Хорватии. В поезде ехало много хорватов из Германии. Хорватки говорили, как хорошо быть опять на своей Родине. На лавке с молодыми хорватками сидел в военной форме хорватский солдат или офицер. Он ехал домой в отпуск с восточного фронта, где хорватские войска сражались против русских. Он с большой гордостью показывал свои трофеи, которые он вез из России. Помню, как он показывал большое розовое мыло и говорил, что это мыло самого лучшего качества в России. Одним словом, братья славяне – хорваты – не стеснялись тоже грабить матушку-Россию. Он говорил с важным видом, что русские разбиты, отброшены в Азию и остались только небольшие азиатские части. Хорватки смотрели на него, как на героя. Но как говорит русская пословица: «Не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь», и этим героям пришлось еще познакомиться с русскими азиатами...

Поезд подъехал к Загребу и остановился. В вагон вошел хорватский жандарм и стал проверять документы. Посмотрев на наши документы, он сказал, чтобы мы вышли из вагона. Около вагона стояли уже и другие пассажиры, которые ехали в Сербию. Нам сказали, что у нас что-то не в порядке с документами. Потом к нам подошел жандарм с винтовкой и сказал, чтобы мы все шли с ним в город. На вопросы он сказал, что нам придется переночевать в городе. Когда его спросили, где мы будем ночевать, то он сказал: “Ну, в нормальной комнате”. И так мы пошли по городу, таща свои вещи, а за нами шел жандарм с винтовкой. Прохожие смотрели на нас без особого интереса. Конвой арестованных не был тогда, наверное, ничем особенным.

Наконец мы вошли в большое здание и были распределены по комнатам. Конечно, здание оказалось тюрьмой, а комнаты тюремными камерами...

Меня и брата поместили в одну камеру. Это была камера для новоприбывших. Камера была большой бетонной коробкой. Пол и стены были из некрашеного бетона. На улицу выходили два окна, но окна были снаружи заделаны досками так, чтобы ничего нельзя было увидеть наружи. Но дневной свет проходил в камеру, так что внутри было довольно светло... Мы, новоприбывшие, разместились на полу недалеко от окна, где было светлее. Сколько нас было, не помню, но я запомнил некоторых людей. Был там уже немолодой серб, высокий и худой. Мы с братом его прозвали “ватрени старац” т.е. “огненный старик”, потому что он очень живо и остроумно говорил и сильно жестикулировал руками. Оказался там и один русский из Сербии – инженер Поляков. Он тоже принимал живое участие в разговоре. Скрестив ноги, на полу сидел довольно старый на вид мусульманин-босанец. Он все больше молчал, но сидел с нами рядом и слушал, что говорят. В руках он держал красную феску и все время ее разглаживал и выпрямлял. Около него сидели еще один или два босанца, которые были на том же заводе, где и он, и рассказывали, что его послали назад, потому что он не смог работать. Они рассказали, что он испугался какого-то станка или машины, убежал и спрятался. Он тут вошел в разговор и сказал: “Ама оно сева”, т.е. “Оно ведь сверкает”. Он был очень простым и примитивным человеком, хотя на вид незлым. Говорили про него, что он всю жизнь где-то в горах пас овец... Ему говорили: “Для чего ты, дядюшка, вообще поехал в Германию на работы. Пас бы на горах своих овец”...

Как я помню, мы провели в тюрьме одну ночь и два дня. Что шло за чем, я точно не помню. Как я помню, нас повели на то, что называлось судом. Мы гуськом шли по какой-то канцелярии. За одним столом один молодой человек, видно, писарь или чиновник, нам что-то бегло говорил, потом мы расписывались и шли дальше. И это был весь суд... Потом нас вывели во двор тюрьмы, где стояла машина “черный ворон”, и стали грузить в машину. Машина была большая и вмещала много народу. Мы все стояли, как сельди в бочке, прижавшись к друг другу. За нами захлопнули

дверь, и наступила полная темнота, так что мы ничего не видели и не могли различать друг друга.

Машина двинулась, и мы куда-то помчались. Машина двигалась быстро, так что на поворотах вся эта масса людей нажимала то на одну, то на другую сторону машины. Если бы мы не стояли так густо, то все бы попадали.

Наконец машина остановилась, двери открыли, и нас стали выгружать. Мы оказались возле железнодорожной станции. Нас окружала полиция. Один толстый человек в форме полицейского командовал всем движением. Я заметил и несколько усташей в коричневой усташской форме... Поезд двинулся. Нам не сказали, куда нас везут, но мы думали, что едем в Сербию, и радовались предстоящей встрече со своими. Была суббота 6-го июня 1942 года. Летом в Сербии жить должно было быть легче. С нами в вагоне тоже ехали из Германии, швабы из Баната. Банат – это провинция в Сербии, а швабами называли немецких колонистов, которые поселились в Сербии в прошлом столетии... Во время поездки один из швабов спросил одного хорвата из конвоя что-то о своем багаже. Тот был, по-видимому, искренним человеком или нам сочувствующим и ответил, что, мол, не думайте о багаже, а лучше успокойтесь, как вам живыми до дому добраться.

...Стало спокойно. Но тот конвоир, который ехал в нашем вагоне, оказался порядочным и хорошим человеком. Мир не без добрых людей. Он научил швабов, как поступать. На остановках около поездов часто ходили немецкие военные. Он и посоветовал, что, когда на остановке увидите немецкого военного, откройте окно и кричите во все горло по-немецки, что вас арестовали, и просите помощи. На следующей остановке швабы открыли окно... Около поезда стоял немецкий офицер. Швабы начали кричать несколькими голосами. Офицер подошел и стал внимательно слушать, что они говорили. Лицо у него сделалось серьезным. Потом он сразу подошел к телефону и стал что-то говорить. Потом он подошел к швабам и сказал, что на следующей остановке наш поезд будет перехвачен и нас освободят. Весь хорватский конвой сразу смылся. Конвой состоял из рядовых полицейских, бывших полицейскими и во время Югославии, а не из усташей. По-видимому, им эти аресты тоже не нравились. Швабы ликовали, да и мы тоже.

На следующей остановке немецкие военные задержали поезд, и нас выпустили. Нам указали на большое место, покрытое травой, где нам сказали подождать около часу и что нам подадут другой поезд, который нас отвезет в Сербию. Мы, наконец, оказались свободными.

Все бывшие арестанты расположились на траве. У кого-то нашелся патефон, и по полю полилась музыка. Все радостно улыбались. Зато некоторые хорваты, которые жили рядом, ворчали и были недовольны, что нас освободили. Я слышал, как они говорили между собой: “Кто мы, независимая страна или нет?”

Куда нас везли хорваты, можно было только догадываться. Но та дорога, по которой нас везли с конвоем, как я потом узнал, шла возле лагеря для заключенных, по названию Ясеновац, где управляли усташы и где во время войны были уничтожены тысячи и тысячи евреев, цыган и православных сербов...

В это время организовался в Сербии из русских эмигрантов “Русский охранный корпус”. Идея, стоящая за этим движением, была продолжением белой борьбы или белого движения, начавшегося в России еще во время гражданской войны, т.е. борьба с коммунизмом... Так начал свое существование “Русский охранный корпус”. Правда, называть его корпусом было преувеличением. Он никогда не превышал размер бригады, т.е. около трех полков или четырех тысяч участников. Большинство служащих в корпусе были бывшие белые воины, которые считали своей обязанностью откликнуться на призыв и продолжать белую борьбу, и я отношусь к ним с большим уважением. Они думали или мечтали, что их отправят на восточный фронт и что снова начнется продолжение белой борьбы.

Но мне кажется, что во всем этом было очень много эмоционального и очень мало рационального. Мечты, фантазии и так мало здравого мышления. В какой-то

степени это действие можно бы было назвать “Поход Дон Кихотов”. Конечно, как и в замысле Сервантеса, Дон Кихот не был комической личностью, как его часто понимают, но истинно трагической личностью. Так и этот корпус и его судьба были частью нашей русской трагедии.

Конечно, посмотрев на участников корпуса, большинство которых были уже в преклонном возрасте, немцы и не подумали посылать их на фронт, а воспользовались корпусом для охраны железнодорожных путей в самой Сербии.

Я не буду описывать историю корпуса, так как о нем есть много книг, написанных гораздо более сведущими людьми. Должен сказать, что в корпусе нашли прибежище многие русские люди и обеспечили свои семьи в это трудное время, так как семьям выдавали содержание...

Теперь я бы хотел поделиться своими мыслями о людях в оккупированных странах или территориях. Конечно, поработанные страны и люди были всегда, с самого начала человеческой истории. Были страны, поработанные и в течение сотен лет. Но я здесь имею в виду страны, поработанные на более короткий срок, на время продолжения войны. Все люди и все имущество попадают во власть завоевателя или оккупанта, т.е. врага. Многие армии при отступлении уничтожают все, что могут, и уводят, кого только могут, чтобы ничего не досталось врагу. Но всех людей эвакуировать невозможно. Да и большинство стран просто капитулируют, а правительства улетают в союзные страны. Как же жить этим людям, которые остались? Для жизни необходимы дома, питание, транспорт, больницы, полиция, снабжение энергией, пожарные и т.д. Нужна какая-то организация, какое-то управление. Другой альтернативой было бы полное самоуничтожение или самоубийство. В таком случае все страны и территории бы просто опустели, и освободить бы было некого. Нации бы исчезли, и землю бы населили другие народы.

Для удобства обыкновенно оккупанты организуют местные самоуправления из местных жителей. Люди продолжают работать, служить и учиться. Кому-то из местных жителей приходится стать во главе местного управления. Это часто бывает трудное и неблагодарное положение. Их после освобождения называют изменниками, судят и часто казнят. Но они исполняют очень важную задачу – сохранение некоей организации, необходимой для жизни людей. Конечно, над всем властвует оккупант и пользуется занятой страной и ее экономикой. Но эта инфраструктура необходима не только для оккупанта и не только для жителей. Она необходима и для партизан, которые ведут активную борьбу. Исчезни инфраструктура, исчезни мирные жители, и пропадут все партизаны.

Конечно, если бы всякая жизнь полностью исчезла на оккупированных территориях, то оккупант бы был в какой-то мере ослаблен, и его бы было легче разбить. Но войны ведутся не только ради просто победы. У войны есть и другие цели – сохранение государства, защита своего народа и его жизнеспособности, сохранение культурных и духовных ценностей своей страны и т.д.

Несомненно, во главе управления оккупированной страны могут оказаться и явные преступники и изменники. Но тогда нужно вложить много усердия, чтобы понять положение вещей и отличить злодеев от героев. Мой опыт мне говорит, что это людям очень тяжело дается. По-видимому, только Божий суд есть праведный суд, а он говорит: “Какой мерой вы будете судить других, такой же и вас будут судить”.

Люди любят простые формулы, любят наслаждаться своей праведностью и часто увлекаются собственной пропагандой. В этих рассуждениях мне хочется обратить внимание на то, как легко можно впасть в заблуждение и как осторожно и вдумчиво надо относиться к людям... Я вообще думаю, что в тяжелое время люди делаются более терпимыми и забывают прежние ссоры. Так, например, русская эмиграция в Югославии состояла из бывших воинов белой армии и их семейств. Явных врагов коммунизма. Кроме того, в белой армии было много вражды к евреям. Но с немецкой оккупацией многое изменилось. Немцы преследовали и расстреливали евреев и коммунистов. Но русские эмигранты, оставшись идеологически антикоммунистами,

жалели и даже старались помочь своим знакомым-коммунистам... Вообще, я не знаю ни одного случая, чтобы кто-нибудь из русских эмигрантов осмелился написать донос на еврея или коммуниста.

В это время такой поступок был бы заклеен как позорный и недостойный... В это время в Ниш приехал из Берлина русский немец, Гроссе. Он работал в Берлине в фирме AEG, которая производила разные электрические принадлежности. Он специально приехал вербовать русских эмигрантов. По-русски он говорил без акцента. Он был холостым и жил в Берлине со своей матерью. Как мы потом, уже в Берлине, убедились, был он просто русским эмигрантом немецкого происхождения и к тому же очень порядочным и добрым человеком. Впоследствии он женился на русской девушке.

Он удивлялся, почему больше русских не уезжает в Германию. Он сказал, что нам здесь просто опасно жить. В Берлине условия жизни будут не идеальными, но мы будем всем обеспечены, и наша жизнь будет в безопасности. Он обещал, что каждого он постарается устроить как можно лучше. Не помню, там же или дома, но решение было принято – ехать в Берлин... По случаю отъезда большого количества местных русских решили отслужить на городском кладбище панихиду обо всех усопших и молебен об уезжающих. После службы прощальное слово сказал председатель русской колонии Катульский. Он, кажется, был полковником в царской армии, и я помню, как он стоял, высокий и с военной выправкой. Он был по происхождению поляк, но был русским патриотом, и его все очень уважали. Он занимал должность управляющего пивным заводом, всегда помогал своим русским и устраивал их на работу. Он говорил на тему, что вот нам, изгнанникам, опять приходится покидать обжитые места и уезжать в незнакомые дали. И какие испытания нам еще предстоят в будущем?.. Русская колония в городе Нише кончала свое существование. Осталось еще упаковать свои оставшиеся пожитки и ждать транспорта. Все наше оставшееся имущество мы могли тащить в руках. Как наши родители приехали ни с чем, так теперь и наше поколение, родившееся за границей, тоже уезжало ни с чем. Конечно, мы взяли с собой все вещи, фотографии и документы, которые были вывезены из России.

Гроссе нам сказал, что в данное время в Берлине много русских людей, привезенных на работы из оккупированных частей Советского Союза, что они нуждаются в одежде и поэтому – привозите все, что сможете взять с собой...

В Белграде была остановка. Там нас встретил отец, и мы прощались. Это была моя последняя встреча с отцом... Мы все поцеловались... помахали руками из окна, и поезд двинулся. С тех пор я Сербию больше не видел. Мне тогда было шестнадцать лет.

© 2003 г. Вступительная статья и подготовка публикации *В.И. Косика*



Д.Е. МИШИН. Сакалиба (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002. 366 с.

Писать о монографии Д.Е. Мишина не просто – столь большое количество тем в ней затронуто и столь богат и разнообразен фактический материал, заключенный в работе. Разумеется, в рецензии все аспекты многоплановой проблематики книги в полном объеме охватить невозможно. Для нас, однако, бесспорно следующее – помимо своей научной самоценности, данная монография для исследователей-неориенталистов, в первую очередь славистов, надолго станет важнейшим подспорьем, а отчасти и источником, при использовании в их трудах сведений средневековых восточных авторов, в которых упоминаются *сакалиба*.

Работа Д.Е. Мишина представляет собой едва ли не исчерпывающий свод содержащихся в исламской литературе данных относительно *сакалиба* в раннем средневековье на основной территории их обитания и, таким образом, важна для изучающих историю и культуру славян и Центральной, и Юго-Восточной, и Восточной Европы, а также их соседей.

Кроме того, в ней собран и проанализирован огромный объем информации о *сакалиба* в мусульманской Испании (Андалусия), в Северной Африке (страны Магриба и Египет), в мусульманских землях Азии (Машрик). Для большинства славяноведов, думаем, этот аспект раннего славянского расселения является *terra incognita* и во многом просто неожидан. Конечно, то, что невольниками – выходцами из Славии – торговали как сами славянские верхи и в догосударственный, и в государственный периоды, равно как и воинственные соседи славян, было известно давно. Но вопрос о судьбах славян-рабов, оказавшихся вне европейско-христианского цивилизационного круга, ос-

тавался “за скобками” внимания славистов (во многом по вполне объективным причинам). Работа Д.Е. Мишина существенным образом заполняет этот очевидный пробел. При этом в книге речь идет о выходах из всего ареала Славии, т.е. и этот ее тематический аспект имеет отношение к истории всех ветвей славянства.

Издание выпущено на должном для научной монографии уровне: оно снабжено списком принятых сокращений источников и литературы; библиографией (644 позиции); указателями имен и географических названий; кратким резюме и оглавлением на французском языке.

Единственным, но серьезным недочетом научного аппарата монографии, по нашему мнению, является то, что в книге отсутствуют карты, совершенно необходимые для пространственной ориентации в обильно представленной в ней географической номенклатуре, особенно мусульманского мира. Этот недочет отчасти мог бы быть компенсирован соответствующими пояснениями в тексте относительно месторасположения того или иного упоминаемого селения, города, области, государства и т.п., однако зачастую читатель этого не находит. Вот лишь один, наугад взятый, пример: “По словам Йакута, 1 декабря 913 г. умер Абу-л-Хасан ‘Али Ибн Ахмад ар-Расиди, бывший наместником ряда земель на востоке Халифата (от границы Васита до границы Шахризора, а также Сус и Гундешапура)” (С. 292). Таких “географических шарад” в издании немало.

Д.Е. Мишин как ориенталист-профессионал не учел в полной мере того, что его монографию будут заинтересованно читать специалисты и иных профилей историчес-

кого и иного гуманитарного знания. Да и востоковеды, занимающиеся, скажем, Средней Азией, не обязательно должны детально знать географическую номенклатуру иных рассматриваемых автором мусульманских и немусульманских регионов. Полезно, с нашей точки зрения, было бы также дать отдельный глоссарий для наиболее часто встречающихся в работе специфических восточных социальных, политических и иных терминов. Вместе с тем следует весьма положительно оценить то, что автор в основном тексте книги рядом с годами по принятому в мире ислама календарю хиджры последовательно указывает их даты по григорианскому календарю (календарь хиджры – лунный, и, соответственно, продолжительность года в нем не совпадает с продолжительностью солнечного года). Это значительно облегчает чтение монографии и работу со сведениями мусульманских источников.

Во Введении Д.Е. Мишин сосредоточивается на вопросе о том, что скрывается за арабским термином *сакалиба* (мн. ч.). Арабская лексема *саклаби* (ед. ч.) представляет собой заимствование из греческого *σκαλιβοῦ* ‘славянин’, потому уже в XVIII ст. первые исследователи однозначно толковали араб. *сакалиба* как ‘славяне’. Однако, во-первых, с середины XIX в. и позднее рядом авторитетнейших ориенталистов обосновывалась базирующаяся на некоторых источниках точка зрения, согласно которой под *сакалиба* мусульманские писатели подразумевали в некоторых случаях вообще всех светлокожих выходцев из северных по отношению к миру ислама регионов, в том числе и неславян. Помимо того, во-вторых, предполагалось, что если слово *сакалиба* первоначально и означало именно ‘славяне’, то постепенно оно утратило свой этнический характер, став категорией социальной и применяясь в мусульманской Испании к невольникам-евнухам вообще (“андалусские *сакалиба* – практически исключительно евнухи; мы не видим в Испании ни одного неоскопленного слуги-*саклаби*... и ни одной невольницы-*саклабийи*” [С. 227]).

По мнению Д.Е. Мишина, которое он затем подробно аргументирует в книге, последний из указанных семантических сдвигов имел место только после 1030-х годов, когда “число упоминаний о *сакалиба* резко сокращается. Логично поставить вопрос, не произошло ли изменение значения понятия *сакалиба* тогда, когда самих *сакалиба* в мусульманском мире уже почти не стало. В это время слово *сакалиба*, чтобы продол-

жать оставаться в употреблении, должно было изменить свое значение, что и произошло: в эту категорию стали включать всех, в том числе и чернокожих, евнухов. Вместе с тем нет впечатления, что происшедшая перемена действительно приобрела всеобщий характер... В толковых словарях арабского языка слово *саклаби* по-прежнему интерпретировалось как “выходец из народа *сакалиба*”, а не как “евнух”; так же оно толкуется и в справочниках по нисбам. Изменение коснулось, по всей вероятности, разговорного языка, ... причем ... прежде всего на западе мусульманского мира” (С. 20, см. также: С. 309–310). «Таким образом, – резюмирует исследователь, – *сакалиба* в исламском мире предстают как люди, принадлежащие к “народу *сакалиба*”. Это наблюдение ставит перед нами задачу выяснить, что подразумевали восточные авторы под “народом *сакалиба*”» (С. 21).

Данной проблеме посвящена первая часть монографии – “Название *сакалиба* в средневековой исламской литературе”. При этом исследователь оговаривает, что “анализироваться... будут не все упоминания о *сакалиба*, а только те, из которых ясно, к кому восточные авторы применяли это название” (С. 27). Впрочем, на некоторых “туманных упоминаниях о *сакалиба*” Д.Е. Мишин в примечаниях останавливается довольно подробно (С. 42–44, прим. 1), в том числе на давно дебатированном вопросе о загадочных *сакалиба*, с которыми столкнулся к северу от Кавказа совершавший в 737 г. поход против хазар арабский полководец Марван ибн Мухаммад.

Сочинения с упоминаниями о *сакалиба* сгруппированы в первой части по трем главам: “Авторы, лично посетившие Восточную и Центральную Европу”; “Авторы, не посещавшие Восточную и Центральную Европу, но опиравшиеся на оригинальные источники”; “Поздние компиляторы”. Данная организация материала представляется удачной и функциональной, определенно отделяя источники первичные от вторичных и “третьичных”, что дает возможность неспециалистам четко ориентироваться в сложном восточном материале. Д.Е. Мишин по каждому разбираемому источнику указывает, какую информацию о *сакалиба* он содержит, зачастую пространно приводя ее, а по второй и третьей группам – откуда сведения были почерпнуты.

В первой главе рассматриваются: рассказ Харуна ибн Йахьи, в последнее десятилетие IX в. или на рубеже IX–X вв. побывавшего в балканских землях славян; сведе-

ния Ибрахима ибн Йа'куба, около 965 г. путешествовавшего по славянским землям Центральной Европы (сведения этих авторов дошли до нас через позднейшие сочинения); труды Абу Хамида ал-Гарнати (1080–1169), содержащие информацию о Киевской Руси; данные неизвестного башкирского информатора Йакута (XIII в.).

Особую важность для темы монографии представляет анализ Д.Е. Мишиным “Записки” (“Рисале”) Ибн Фадлана, в качестве секретаря посетившего в 921–922 гг. Волжскую Болгарию в составе посольства багдадского халифа к местному правителю Алмушу. Поэтому остановимся на данном сегменте первой главы подробно.

Уже давно было отмечено, что *сакалиба* у Ибн Фадлана – не славяне, а волжские булгары, согласно некоторым трактовкам – светловолосые северяне в целом, вне зависимости от культурно-лингвистической принадлежности (С. 29). Добавим, что в историографии можно встретить утверждения, согласно которым “Рисале” является аутентичным свидетельством присутствия в начале X ст. на территории Волжской Болгарии славянского населения (этого мнения придерживался еще в XIX в. А.Я. Гаркави), жившего здесь еще до появления тюркоязычных болгарских племен (потомков носителей именьковской археологической культуры, датированной концом IV–V в.–концом VII в.) (см., напр.: [1. С. 193–197; 2. С. 248–255]).

Ученый в собственном переводе цитирует десять фрагментов из “Записки”, в которых употребляется термин *сакалиба* (в текст книги, к сожалению, вкрались досадные неточности: на с. 31 вместо “фрагмент 9” следует читать “фрагмент 10”; на с. 33 речь идет о фрагменте 7, а не о фрагменте 6). Их анализ показывает, что “название *сакалиба* употребляется у Ибн Фадлана двояко. В подавляющем большинстве случаев (11 из 14) оно предстает как часть титула правителя волжских булгар (*малик ас-сакалиба*). Всего лишь в трех фрагментах название *сакалиба* употребляется самостоятельно и обозначает подданных Алмуша. При столь очевидной диспропорции напрашивается вопрос: называет ли Ибн Фадлан волжских булгар *сакалиба* потому, что их правитель именовался *малик ас-сакалиба*, или наоборот, Алмуш именовался правителем *сакалиба* потому, что его подданные назывались *сакалиба*?” (С. 30). Автор книги далее обосновывает первое предположение. Один или даже два (первый и десятый) из трех фрагментов, где подданные правителя Волжской Болгарии названы *сакалиба*, вероятнее всего, не при-

надлежат Ибн Фадлану. Появление же бесспорного фрагмента, в котором говорится: “Если из страны хазар в страну *сакалиба* прибудет корабль...”, а также титул Алмуша *малик ас-сакалиба* объясняются Д.Е. Мишиным следующим образом.

Приезд в Волжскую Болгарию посольства из Багдада был вызван тем, что Алмуш направил халифу ал-Муктадиду специальное послание со своими просьбами. Содержание письма излагается в начале трактата Ибн Фадлана. “В этом изложении Алмуш называется “правителем *сакалиба*”, и можно предполагать, что так было и в оригинале... Предположение, что именование Алмуша “правителем *сакалиба*” исходило от него самого, объясняет ту легкость, с какой арабы (включая самого Ибн Фадлана) приняли на веру эту титулатуру. В Багдаде почти наверняка располагали текстом описания северных народов неизвестного автора (речь идет об Анонимный записке, о ней см. далее. – М.В.)... в котором Алмуш характеризуется как правитель Булгара. Нужны были веские основания, чтобы считать его правителем *сакалиба*”. В таком случае представления Ибн Фадлана о Булгаре вполне объяснимы. “Зная об Алмуше как о “правителе *сакалиба*” из такого заслуживающего доверия источника, как дипломатическая переписка, Ибн Фадлан последовательно называет его так на всем протяжении своего повествования. Но как называть жителей Булгара, Ибн Фадлану неизвестно... В результате Ибн Фадлан вообще никак не называет волжских булгар, ограничиваясь упоминаниями о “жителях страны” или об отдельных племенах”. Однако будучи вынужден все же как-то определять подданных Алмуша, арабский писатель применяет к ним название *сакалиба*, руководствуясь при этом, “кажется, именно титулом Алмуша” (С. 32–33).

По мнению Д.Е. Мишина, Алмуш взял титул *малик ас-сакалиба* в видах создания совместно с Халифатом антихазарской коалиции. “В этих условиях для правителя волжских булгар... было бы вполне естественно показывать себя мощным правителем, которому повинуются многие народы и с которым, следовательно, выгодно поддерживать союзнические отношения” (С. 33). Это соображение можно развить в том отношении, что в халифате ‘Аббасидов в начале X в. хорошо знали, что славяне – это многочисленный и сильный “народ”, а значит, их правитель – властелин могущественный. Возможно, именно данное обстоятельство стало главным побудительным мотивом

вом для болгарского владетеля выбрать из всех “народов Севера” именно славян.

Таким образом, применение Ибн Фадланом названия *сакалиба* к волжским булгарам “правомернее считать не свидетельством его отношения ко всем северным народам без разбора, а результатом следования автора неверному указателю”, которым стало послание Алмуша к халифу (С. 33). Под влиянием титулатуры письма болгарского правителя Ибн Фадлан еще до поездки совершил мысленную ошибку, решив, что *сакалиба* – это адекватное наименование подданных Алмуша, волжских булгар, и в дальнейшем следовал ей. “Применение названия *сакалиба* к волжским булгарам встречается только у Ибн Фадлана и авторов, механически копирующих его рассказ” (С. 29).

Но когда Ибн Фадлан имел дело с настоящим *саклаби* (фигурирующий в “Записке” Барис ас-Саклаби), то нет веских оснований полагать, что перед нами не славянин, а представитель какого-либо иного “северного народа” (см.: С. 295). В целом же “нетрудно заметить, что практически во всех разобранных случаях – за исключением разве что разобранной ошибки Ибн Фадлана – название *сакалиба* применяется к славянам” (С. 42).

Во второй главе отдельно рассматриваются сведения о *сакалиба* ал-Джарми (середина IX в.), Ибн Хордадбега (его “Книга путей и стран”, как обычно полагают, имела две редакции – 846/47 г. и 885/86 г.), ат-Табари (сведения относятся к середине 890-х годов), неизвестного андалусского географа X в., ал-Мас’уди (умер в 956/57 г.), ал-Истахри (умер после 951 г.), Ибн Хаукала (писал в 988 г.), Ибн Хайяна (987/88–1076), ал-Кайравани (умер после 1027 г.), ал-Идриси (1100–1165), последнего “из восточных географов, использовавшего оригинальные сведения, почерпнутые непосредственно из первоисточников” (С. 82). У этих авторов имеется богатая, но и нередко противоречивая информация о *сакалиба* и их соседях в Европе, подробно анализируемая Д.Е. Мишиным.

В этой главе выделим разбор ученым описания северных народов неизвестного автора (Анонимная записка). Записка, как и некоторые другие труды упомянутых выше восточных писателей, до сего дня не сохранилась, однако ее содержание в общем достаточно подробно восстанавливается на основе сведений тех мусульманских авторов, которые так или иначе черпали из нее “щедрой рукой”: Ибн Ростэ (писал в начале X в.; более традиционно для отечественной историографии название Ибн Русте), ал-

Макдиси (около 966 г.), неизвестный автор сочинения конца X в. “Худуд ал-‘Алам”, данным которого о Восточной Европе Д.Е. Мишин посвятил отдельную содержательную статью [3], Гардизи (писал между 1050–1053 гг.), ал-Бакри (умер в 1094 г.), ал-Марвази (вторая половина XI–первая половина XII в.), Шукруллах ал-Фариси (1456 г.) и др. Исходный текст Анонимной записки сохранил в себе материалы о печенегах, хазарах, бургасах, волжских булгарах, венграх, *сакалиба*, русах, Сарире (царстве на территории современного Северного Дагестана), аланах. Поэтому в научных трудах недостаточно корректной будет, скажем, формулировка: “Как сообщает Ибн Русте о славянах (хазарах, русах, бургасах и т.д.)”. Его материалы вторичны по отношению к первоисточнику, Анонимной записке, которую он переписывал “довольно близко к тексту” (С. 52).

Описание, по мнению Д.Е. Мишина, наиболее вероятно, относится ко времени между 889 и 892 гг. (С. 51, 57–58), было составлено на востоке мусульманского мира и “взято из какого-то административного пособия; последнее, скорее всего, использовалось как справочник” (С. 51). Записку, видимо, следует рассматривать как в целом достаточно аутентичный источник о ситуации в Восточной Европе на исходе IX в., что, конечно, не снимает проблему критической интерпретации ее сведений. Этому Д.Е. Мишин уделяет существенное место, делая ряд интересных заключений, например о пресловутой реке *Дуна/Рута*; о верховном правителе *сакалиба* С.вит.м.л.к., в котором, вслед за Д.А. Хвольсоном, видит великоморавского князя Святополка I, однако предлагает оригинальное тому обоснование; о городе *Ва...т* (*Вантит*, *Вабнит*) и др.

Вместе с тем определенные сомнения вызывает у нас следующее суждение исследователя: “Учитывая предложенную выше локализацию венгров в Этелькузу, между Днепром и Сиретом, логичнее всего было бы отождествить землю *сакалиба*, подвергавшуюся [их] набегам, с землей киевских полян” (С. 58). Из данного предположения им выстраивается следующий “этаж” гипотетичной конструкции: “...в описании северных народов неизвестного автора название *сакалиба* применяется: 1) к киевским полянам; 2) к белым хорватам, жившим к востоку от Карпат” (С. 60).

Однако в конце IX ст. набегам венгров из южнорусских степей теоретически, да и практически могли подвергаться не только восточноевропейские поляне, но также и древляне, волыняне, те же белые хорваты,

даже северяне, не говоря об уличах, в это время о юга “прикрывавших” места проживания полян от степняков (тиверцы вообще размещались в Этелькузу). На с. 55 ученый пишет: «...нетрудно отметить, что в своем описании автор движется с востока на запад (хотя из приводимых Д.Е. Мишиным на с. 52–53 последовательностей фрагментов у указанных выше мусульманских писателей это “движение с востока на запад” не столь уж очевидно: например, у Ибн Русте и Гардизи за пассажем о русах следуют сообщения о Сарире и аланах. – М.В.): печенеги – хазары – буртасы – волжские булгары (примем во внимание этом “северный зигзаг” записки: хазары, к северу от них, что хорошо прослеживается в источниках, жили буртасы, еще севернее – волжские булгары. – М.В.) – венгры – *сакалиба* – русы». Если считать, что в описании имеется еще один “зигзаг”: венгры в Этелькузу (юг) – *сакалиба* (севернее венгров) – русы (севернее *сакалиба*), то обрисованная нами ситуация на мадыро-славянском пограничье в конце IX ст. непротиворечиво соответствует имеющимся восточным данным.

Помимо “логики”, веским аргументом в пользу тождества в записке полян и части *сакалиба* могла бы случить интерпретация Д.Е. Мишиным названия города *Вантита* (*Вабнитта*), находившегося возле пределов *сакалиба*, как *Витичев*. Действительно, древнерусский Витичев (ныне село Витачев на Киевщине) располагался в 40 км южнее Киева вниз по Днепру, на правом его берегу, т.е. на южном пограничье бывшей земли полян.

Однако при трактовке полисонима *Ва. . . т* (*Вантит*, *Вабнит*) как *Витичев* необходимо, полагая, учитывать следующее. Во-первых, опираясь на соответствующий комментарий к сочинению Константина VII (см.: [4. С. 318, прим. 25]), из всех имеющих в летописании форм наименования города Д.Е. Мишин выбрал, с нашей точки зрения, наименее адекватную, самую испорченную – *Витичев*: “Мне представляется вполне вероятным, что именно название “Витичев” дало в восточных источниках написание *Вантит*” (С. 58). Обратимся непосредственно к данным письменных памятников.

Витичев (Вѣтѣчьѣ, др.-русс. **Витечев*) впервые упоминается в составленном в 948–952 гг. трактате византийского императора Константина VII Багрянородного “Об управлении империей” [4. С. 46] в качестве “крепости-панктиота росов” (греч. *панктиот* могло означать здесь и “союзник”, и “данник” [4. С. 316, прим. 18]) и являлся последним местом сбора их кораблей перед

дальнейшим плаванием в Константинополь [4. С. 47].

Старейшие дошедшие списки “Повести временных лет” (ПВЛ), содержащиеся в Лаврентьевской (ЛЛ) и Ипатьевской (ИЛ) летописях, дают форму Оувѣтичи (“въ Оувѣтичихъ”) [5. Стб. 273; 6. Стб. 249] (варианты: “въ Оувѣтичехъ” [6. Приложение. С. 19]; в Радзивиловской летописи и рукописи бывшей Московской Духовной Академии “Уветичехъ” [5. Стб. 273, прим. 12], причем предлог “въ” в них отсутствует [5. Стб. 273, прим. 10], что открывает возможность для прочтения “оу Вѣтичехъ”, см. подобные примеры далее). В статье ПВЛ под 1095 г. говорится, что князь Святополк Изяславич “повелѣ рубити городъ на Вытечевѣ холму, в свое имя нарекъ Святополчь городъ” [5. Стб. 229] (варианты: “на Витчевѣ холмѣ”, “на Витчевѣ холму” [5. Стб. 229, прим. 10], “на Вытечевскомъ холмѣ” [6. Стб. 219], “на Вѣтечевскомъ холмѣ” [6. Приложение. С. 17]). В ЛЛ в статье под 1151 г. упоминается “Витечевский бродъ” [5. Стб. 331] и читается: “Изяславъ идяше по оной сторонѣ Днепра по горе, а лодѣ его по Днѣпру же пришедшимъ имѣ к Витечеву” [5. Стб. 331]; “переѣха Гюрги в лодьяхъ у Витечева” [5. Стб. 334]. В ИИ в статье под 1151 г. также говорится о “Витечевском бродѣ” [6. Стб. 424] и о том, что войска из Киева шли по правой стороне Днепра, а “лодѣ” “по Днѣпру же пришедше же и стаха на Витечевѣ” [6. Стб. 424] (вариант: “Вытечевѣ” [6. Стб. 424, прим. 62]). В той же летописи в статье под 1149 г. читается: “Изяславъ же ста пришедъ оу Витечева” [6. Стб. 378] (вариант: “оу Вѣтчева” [6. Приложение. С. 30]). В статье ИИ под 1177 г. говорится: “Приѣхав же Святославъ с полки своими ста оу Витечева” [6. Стб. 604] (варианты: “Витичева” [6. Стб. 604, прим. 43], “оу Вѣтичева” [6. Приложение. С. 48]).

Здесь не место вдаваться в детальный анализ всех тонкостей “витичевской топонимии”, требующий отдельного рассмотрения. Однако даже из приведенных летописных фрагментов вполне очевидно, что исходной являлась никак не форма *Витичев*, а, вероятнее всего, **Вѣти(е)чевь*. Дело в том, что древнерусская фонема ѣ “представляла собой (если не во всех позициях, то во многих) протяженный гласный недостатокно выявленного качества. Она была близка к е и и, по-видимому, произносилась как звук, средний между ними, т.е. как е закрытый, однако не смешивалась ни с и, ни с е” [7. С. 30]. В последующем ѣ во многих говорах русского и белорусского язы-

ков постепенно превратился в *e*; в некоторых русских говорах и украинском языке совпал с *i*; в ряде украинских, белорусских и севернорусских говоров звучит или как дифтонг *ue*, или как напряженный (закрытый) *ê*, т.е. близко к первоначальному древнерусскому звучанию [7. С. 80].

Помимо того, нельзя исключать (в рамках предлагаемого в книге Д.Е. Мишина), что разбираемый полисним стал известен анонимному автору записки через мадыарское языковое посредство; эту возможность следует принимать во внимание при лингвистических выкладках.

Во-вторых, у Константина Багрянородного Витичев упоминается применительно к ситуации середины X в., в связи с тем, что город являлся пунктом сбора росов и крепостью на пути “из варяг в греки”. Однако в IX ст. эта торговая артерия, как неоднократно отмечалось в историографии, еще не существовала на всем ее протяжении. Главные торговые связи между “северными народами” и югом осуществлялись в первую очередь по Волге и ее притокам (С. 177–179). Таким образом, функционирование Витичева в указанном византийском императором качестве на исходе IX в. остается под вопросом.

Наконец, в-третьих, время возникновения Витичева нам достоверно не известно, т.е. мы не знаем, существовал ли он в конце IX ст. Но результаты проводившихся в 1961–1962 гг. под руководством Б.А. Рыбакова археологических раскопок в принципе не исключают такую возможность. На территории села Витачева в эти годы проводилось рекогносцировочное изучение так называемого Северного городища (находящегося в 2 км южнее его Южного городища – остатки основанного в 1095 г. Святополча городка, Новгорода-Святополча, о нем см.: [8]). Согласно Б.А. Рыбакову, внутри Северного городища стратиграфически выделяются два слоя: слабо выраженный нижний, датируемый первой половиной–серединой X в., и верхний, относящийся к концу X–началу XI в., который можно сопоставить со временем строительства оборонительных линий от печенегов на юге Руси при Владимире Святославиче [9. С. 34; 10. С. 128]. Поскольку археологи далеко не всегда имеют возможность дать абсолютную хронологию того или иного памятника, то нижнюю границу упомянутого нижнего слоя в принципе можно распространить на конец IX в.

Раскопками выявлено, что в X–начале XI в. Витичев действительно являлся мощной крепостью [9. С. 34–35; 10. С. 128–129],

что косвенно подразумевается в тексте трактата Константина Багрянородного. Но если в конце IX в. эта крепость еще не являлась важным укреплением и речным портом (последнее, кажется, выявляется археологически [10. С. 128]) на пути из “варяг в греки”, то какой могла быть ее роль тогда?

Во-первых, Витичев мог оборонять от степняков южные рубежи Полянской земли и Руси. Стугна, около впадения которой в Днепр располагался Витичев, являлась последним речным рубежом перед Киевом: на север от Стугны лежал “бор велик”, окружавший Киев, на юг – огромная степная “поляна” площадью в 5 тыс. кв. км., тянувшаяся почти до реки Рось [10. С. 126]. Во-вторых, крепость контролировала позднее стратегически важный брод через Днепр (Витичевский брод) (см.: [9. С. 34; 10. С. 54]). В этом качестве Витичев мог выступать как один из пунктов на сухопутном торговом пути, соединявшем Азию и Европу. В-третьих, Витичев мог являться одним из центров торговли “леса и степи”. В-четвертых, Витичев мог выступать как крепость на днепро-волжском речном пути (вниз по Днепру, затем по морю до устья Дона, вверх по этой реке, далее волоком в Волгу и по ней в Хазарию); по мнению Д.Е. Мишина, в IX ст. “купцы-русы часто использовали именно такой путь” (С. 57). Конечно, все сказанное о потенциальных функциях Витичева в конце IX в. – только умозрительные предположения, которые, однако, могут быть использованы при обосновании гипотезы о его тождестве с *Va. . . m* (*Вантум*, *Вабнум*) мусульманских писателей.

Вместе с тем, по нашему мнению, предлагаемую Д.Е. Мишиным трактовку полисонима *Va. . . m* (*Вантум*, *Вабнум*) как *Витичев* категорически элиминировать не следует. Но оригинальная гипотеза ученого еще нуждается во всестороннем обсуждении и дополнительном обосновании. Поэтому, а также принимая во внимание высказанные нами выше соображения, положение автора монографии, согласно которому под частью *сакалиба* Анонимной записки должно разуметь исключительно полян, требует дальнейшей серьезной разработки.

Суммируя наблюдения по всем трем главам первой части монографии, Д.Е. Мишин приходит к следующему выводу относительно одного из важнейших вопросов ее проблематики – «что подразумевали восточные авторы под “народом *сакалиба*»». “...В исламской литературе слово *сакалиба* применялось, как правило, к славянам. Это особенно характерно для тех авторов, кото-

рые сами побывали в землях *сакалиба* (исключение составляет только Ибн Фадлан...). Однако по мере того, как данные о *сакалиба* отдалялись от оригинальных источников, переходя из произведения в произведение, они подвергались все большему искажению”, которые были связаны “с недобросовестностью при копировании... стремлением объединить сведения обо всем, называемом *с.к.л.б.*, вне зависимости от того, к кому они относятся... или попытками компиляторов приспособить данные о *сакалиба* к собственным представлениям... Между тем эти дефекты относятся скорее к погрешностям поздних авторов при работе с источниками, чем к сознательному употреблению слова *сакалиба* в расширенном значении” (С. 99, см. также: С. 308). “В то же время анализ источников показывает, что возможность ошибки, то есть зачисления в *сакалиба* неславян, существует”. Поэтому только условно можно считать, что “встречающиеся нам слуги-*сакалиба* – славяне. Но так как вероятность ошибки все-таки нельзя исключить, прямо говорить о славянах, как это делают многие специалисты, неправомечно” (С. 99).

Вторая часть исследования Д.Е. Мишина носит название “Славянские поселенцы на Ближнем Востоке”. Славяне могли появиться в Малой Азии уже к середине VII ст. в результате политики, проводившейся Византийской империей, стремившейся путем массовых переселений, и не одних только славян, решать свои проблемы: “...с одной стороны, ослаблялась реальная или потенциальная угроза, которую тот или иной народ представлял для Византии, с другой – империя приобретала новых подданных, из которых впоследствии можно было набирать войска...” (С. 101). С появлением воинов ислама у малоазийских границ Империи начинается вооруженное противоборство, в котором на византийской стороне участвовали расселенные в регионе славянские подданные Византии. Некоторые из них оказывались на территории Халифата в качестве военнопленных. Во второй половине VII–начале VIII в. имелись случаи, когда славяне большими группами переходили на службу к мусульманам, их расселяли в приграничных крепостях, где они образовали общины и в основном занимались оборонной рubeжей. Однако с середины VIII в. ситуация существенно меняется: “С одной стороны, в результате войн славянские переселенцы в Халифате несут большие потери... с другой – пограничные крепости заселяются выходцами из восточных областей Халифата...” (С. 124). С этого времени славян-

ские общины начали растворяться в исламской среде. После 876/77 г. “у нас нет более никаких сведений о славянских поселенцах в Арабском халифате” (С. 122).

Судьбы славянских поселенцев и особенно их потомков в Машрике определяло прежде всего то, что они постепенно ассимилировались в мусульманском обществе. Однако заслуживают существенного внимания с исторической и этнологической точек зрения следующие наблюдения Д.Е. Мишина: “Славяне довольно долго сохраняли собственные имена... Нескоро, насколько можно судить, укоренился в среде славян ислам...” Во многих эпизодах византийско-исламского вооруженного противостояния славяне не следовали безоглядно за “ромеями” или за мусульманами, а лавировали между ними. “Полагаю, что славяне не отождествляли себя ни с одной из воюющих сторон и действовали сообразно с собственными интересами. Это тоже указывает на некоторые черты самосознания переселенцев: они считали себя особым народом, не византийцами и не мусульманами, что, в свою очередь, свидетельствует о сохранении ими в течение долгого времени своей этнической и культурной самобытности” (С. 124–125).

Данная проблематика получила развитие в небольшой по объему пятой главе (“Культура и духовный мир слуг-*сакалиба*”) третьей части монографии Д.Е. Мишина. “...Рабы-*сакалиба*, – пишет он, – совершенно особое явление, и сведения об их культуре и духовном мире заслуживают отдельного исследования” (С. 300), впрочем, весьма непростого из-за скудной информативности источниковой базы.

Оказавшись в неволе, *сакалиба* активно усваивали арабский язык. Однако мусульманские авторы в ряде случаев указывают на то, что они говорили и на родном языке. По мнению Д.Е. Мишина, этот “язык *сакалиба*” мог представлять собой, с одной стороны, смесь различных славянских диалектов в тех случаях, когда *сакалиба* являлись выходцами из разных “племен” и местностей Славии. С другой стороны, “язык *сакалиба*”, вероятно, вобрал в себя немало слов, обозначавших специфические восточные реалии, из арабского (можно думать, что в некоторых регионах – и из других языков, в Машрике, например, из персидского).

Одновременно с овладением арабским языком происходила исламизация рабов-*сакалиба*. Это обстоятельство объясняется тем, что большую часть невольников-*сакалиба* составляли язычники, христиан среди них было сравнительно немного (С. 300–

301). А язычников, согласно установлениям Корана, правоверные мусульмане должны были либо уничтожать (что по меньшей мере глупо по отношению к собственным рабам), либо обращать в ислам. Принимать другую религию могли и *сакалиба*-христиане (С. 301), чего от них как “людей договора” (о содержании термина см. далее) в принципе жестко не требовалось.

Несмотря на глубокие изменения в духовной сфере, слуги-*сакалиба* продолжали сохранять элементы своей культуры, и не только язык. Например, ал-Джахиз (около 767–864/65 или 868/69) в “Книге о животных” писал, что многие рабы-*сакалиба* “рассказывали ему, что в их стране змеи забираются на коров и сосут их молоко, отчего коровы слабеют или даже околевают. Этот мотив довольно популярен в славянских поверьях и сказаниях”. В другом фрагменте своего сочинения ал-Джахиз отмечал, что “рабы-*сакалиба* хорошо играют на струнных инструментах, и это, естественно, наводит на мысль о славянских гусях” (С. 303–304).

При всех различиях *сакалиба* – выходцев из разных частей Славии – есть выразительные примеры того, что они все же осознавали себя единой общностью. Так, слуга-*саклаби* по имени Хабиб написал не дошедшую до нас “Книгу побед и успешного противоборства с теми, кто отрицает достоинства *сакалиба*”. Имеется свидетельство о том, что в ней излагались редкие истории из жизни *сакалиба* и приводились сочиненные ими стихи. Согласно другому известию, в своей книге Хабиб “резко и бескомпромиссно защищал своих” от нападок.

“Сделанные наблюдения приводят к следующему пониманию культуры и духовного мира слуг-*сакалиба*. Попав в мусульманское общество и живя в нем, они, естественно, стали его частью и усвоили арабский язык, ислам и что-то из мусульманской культуры. В то же время они не растворились в этом обществе, сохраняли свой язык и некоторые элементы родной культуры. Выделяясь среди мусульман, они сознавали себя особой общностью... Все это заставляет нас видеть в *сакалиба* отдельную группу населения исламского мира, которая своим своеобразием заслуживает самого внимательного изучения” (С. 306).

Уже упомянутая третья, и наибольшая по объему, часть монографии посвящена слугам-*сакалиба*. Ее открывает глава, в которой рассматриваются вопросы о том, откуда и какими путями невольники-*сакалиба* попадали в исламские страны. Таких путей имелось несколько. Один из них пролегал

через Германию и Францию в мусульманскую Испанию.

Столкновения франков и славян происходили уже в VIII ст., но с 805 г. они сменяются крупномасштабной экспансией с запада, направленной против славян Центральной Европы: чехов, сорбов, лютичей и других. К середине IX в. слуги-*сакалиба* регулярно появляются в источниках по Андалусии, а немногим позже и по Северной Африке. “Попытки восстановления начальных этапов истории поставки невольников-*сакалиба* в исламский мир неизбежно приводят... к хронологическому рубежу начала IX в.”: с этого времени германо-славянские войны “начали давать первых пленников, и невольников-*сакалиба* стали отправлять на продажу в Андалусию” (С. 139). Д.Е. Мишин выделяет следующие источники поступления рабов-славян из центральноевропейского региона: плен как результат походов и набегов германцев и внутриславянских вооруженных столкновений (этот путь попадания в рабство он считает особенно важным); скупка работоторговцами зависимых славянокрестьян у немецких феодалов; похищение славянских детей и их продажа собственными родителями. К указанному автором следует добавить еще один источник: продажа в рабство преступников (см.: С. 171; применительно к раннесредневековой Болгарии см.: [11. С. 164]).

На центральноевропейско-испанском пути работоторговли, которым славянские рабы (в том числе привозимые из Руси) попадали в мусульманские страны, она велась преимущественно иудейскими купцами-рабаданитами. Господствующее положение рабаданитов в работоторговле явилось следствием их общего преобладания в торговле исламского мира с Европой в IX–XI вв. Это доминирование объясняется двумя основными причинами. Во-первых, “в результате арабских завоеваний из международной торговли ушли многие греческие и сирийские купцы, бывшие дотоле главными конкурентами рабаданитов”. Во-вторых, общая враждебность в VIII–XI вв. двух миров, христианского и исламского, во многом обусловленная религиозной нетерпимостью, вела к тому, что западноевропейские купцы из соображений безопасности редко посещали страны Востока, и наоборот. “Иудеи... в этом отношении были в лучшем положении: в мусульманских странах они пользовались статусом “людей договора” (к ним относились христиане и иудеи, они не подлежали насильственному обращению в ислам и должны были либо воевать с мусульмана-

ми, либо добровольно принять ислам, либо, проживая на территории мира ислама и сохраняя свою веру, платить специальный налог – *джизью*. – М.В.) и, следовательно, некоторой правовой защитой; в Европе, несмотря на спорадические преследования, они также могли жить и торговать”. При этом иудей-купец из мусульманских стран мог рассчитывать на поддержку иудейских общин, разбросанных по европейским городам, а иудеев-купцов из Европы принимали их единоверцы на Востоке (С. 143).

Определенные трудности для деятельности рахданитов создавала позиция западно-европейской, подчинявшейся Риму, церкви, специальными решениями неоднократно запрещавшей продавать иноверцам невольников-христиан (С. 143–146) (то же отношение к продаже рабов-христиан еврейским купцам прослеживается во взглядах и действиях чешского святого – Войтеха (около 962–997) [12. С. 213 и след.]). Однако эта позиция церкви не распространялась на невольников-язычников, в том числе славянских.

Автор скрупулезно прослеживает маршруты работорговли рахданитов, начинавшиеся на границе между германскими и славянскими землями и далее в Андалусию (в мусульманскую Испанию они попадали либо морем, через Марсель и Нарбонну, либо дорогами сухопутными, через Пиренеи, и здесь преимущественно продавались), Магриб, Египет и Машрик.

Другой путь торговли невольниками-*сакалиба* пролегал через Италию. Главным контрагентом в этом случае являлась Венецианская республика. В Венецию рабы-*сакалиба* поступали как из Центральной Европы, так и из южнославянских областей (Далматия (Далмация) и Истрия) и направлялись большей частью в Северную Африку.

Несколько маршрутов работорговли шли на Восток из русских земель: через Среднее Подунавье указанные германо-андалусский и венецианский; южностепной (поставщиками невольников были кочевники – венгры, печенег, половцы и другие, сбывавшие свой “живой товар” иноземным, в том числе мусульманским, купцам), ведущий в Машрик. Восточный путь до середины X в. пролегал через Волжскую Болгарию, Хазарию (торговыми партнерами приходивших сюда русов выступали и мусульманские, особенно из Хорезма, купцы) и далее в Машрик.

Но во второй половине X в. ситуация меняется: “...мы видим в волжском регионе новых работорговцев, которые ранее в источниках не упоминались. Ибн Хордадбех сообщает о хорасанских (Хорасан – истори-

ческая область на северо-востоке Ирана и примыкающей территории Средней Азии. – М.В.) *гази*, которые приходят в Булгар и оттуда совершают набеги на *сакалиба*. Своих пленников они обращают в рабство и привозят в мусульманский мир” (С. 179, см. также: С. 76). Отряды *гази* представляли собой добровольческие независимые дружины, во главе которых стоял избираемый ими самими предводитель. *Гази*, вероятно, двигались по маршрутам купцов, в первую очередь из Булгара в Киев, и нападали на местные угро-финские племена и на славян (С. 79, 181–182).

В историографии неоднократно поднимался вопрос о результатах для Руси, Восточной Европы вообще разгрома при князе Святославе Хазарского каганата в 960-е годы; отмечались как положительные, так и отрицательные последствия данной акции. Анализ Д.Е. Мишиным ситуации с нападениями *гази* на *сакалиба* с целью захвата невольников вскрывает один из негативных эффектов этого военного предприятия Святослава, по мнению ученого, нанесшего удар не только по хазарам, но и по волжским булгарам (что в историографии не общепризнано, см., напр.: [13. С. 225]). “...Мне представляется вполне естественным, что русы на какое-то время перестали приезжать в Булгар и Хазарию: они сами уничтожили те рынки, на которые когда-то приходили ...объем торговли русов по Волге сильно сократился, причем поток товаров, по-видимому, направлялся теперь только в Булгар”. Именно сюда устремились купцы из Ирана и особенно Хорезма, с одной стороны, и шайки разбойников-работорговцев *гази* – с другой (С. 180–181).

Общие выводы по данной главе, а также по некоторым аспектам проблематики второй части монографии и второй–четвертой глав части третьей Д.Е. Мишин суммирует следующим образом. Ввоз невольников-*сакалиба* из Германии и через нее в Андалусию начался в первые десятилетия IX в., достиг пика в конце X ст., но с первой четверти XI в. заметно сократился в условиях кризиса, вызванного политической смутой в мусульманских землях на Пиренеях. Из Венеции невольники в небольших масштабах поступали и в последующем. Ввоз рабов-*сакалиба* из Руси по волжскому пути прослеживается на всем протяжении X в., но к его исходу сильно сокращается вследствие противодействия Древнерусского государства набегам охотников за рабами и общего упадка транзитной торговли по Волге. “Набеги кочевников на Русь не прекращались

никогда (заметим, что реальная историческая ситуация была сложнее, и для разных периодов ее не следует оценивать столь категорически однозначно. – М.В.), но в основном невольники направлялись в греческие анклавы Причерноморья, не попадая в руки мусульманских купцов. *Сакалиба*-военнопленные были более или менее многочисленны в VII–первой половине IX в., когда в византийской Малой Азии сохранялись... славянские поселения; в последующее время их было меньше (этой проблеме в первой главе третьей части книги уделено отдельное внимание. – М.В.)”. В результате в Андалусии и Северной Африке присутствие слуг-*сакалиба* наблюдается на всем протяжении IX–X вв., особенно многочисленными они становятся в конце X–начале XI в. В Машрике некоторое количество невольников-*сакалиба* появилось еще в середине VII ст., в конце X в. их стало больше. “Однако после первой четверти XI в. ситуация изменилась, поскольку ввоз невольников из Германии и Руси (по волжскому пути) заметно сократился, а рабов-*сакалиба*, постулавших по иным каналам, было немного. В результате для всех регионов исламского мира можно констатировать заметное уменьшение числа и постепенное исчезновение упоминаний о слугах-*сакалиба*” (С. 309, см. также: С. 227, 275–276, 298–299).

Вторая–четвертая главы третьей части монографии посвящены слугам-*сакалиба* в мусульманской Испании; в Северной Африке; в Машрике. В связи с данными разделами книги выскажем следующее соображение. Для читателей-неориенталистов было бы крайне полезно дать в их начале небольшие очерки, даже энциклопедического характера, политической истории рассматриваемых автором регионов, что много упростило бы понимание ими ее хода в этих частях мира ислама.

Ограниченный объем рецензии побуждает и нас ограничиться лишь суммарными ключевыми выводами, сделанными Д.Е. Мишиным на основе скрупулезного критического анализа источникового материала.

Итак, как следует из указанных глав, а также предыдущих разделов книги, из Германии в Андалусию доставляли почти исключительно скопцов-*сакалиба*, они же составляли большинство слуг-*сакалиба* в Северной Африке. Из Венеции привозили не только кастратов, но и неоскопленных рабов (потому некоторые североафриканские *сакалиба* – не внухи), а также невольниц. Среди пленных, которых арабы брали в ходе войн с Византией, были и мужчины, и женщины, и дети. Русь давала миру ислама

рабынь и неоскопленных рабов. Поэтому в Машрике источники знают и внухов, и некастрированных слуг-*сакалиба*, и рабынь-*сакалиба*, и детей (С. 310).

В мусульманском мире слуги-*сакалиба* находились преимущественно при дворах правителей, где их могло быть довольно много, до нескольких сотен человек. Роль *сакалиба* в политической жизни каждого из государств указанных мусульманских областей зависела от особенностей их развития.

В Испании *сакалиба*, служа при дворе, принимали участие в борьбе за власть, однако постоянно терпели поражения, так как им противостояли намного более могущественные противники; надежных же и сильных политических союзников андалусские *сакалиба* приобрести не сумели (С. 227–228, 310).

В Северной Африке слуги-*сакалиба* особенно широко использовались в Фатимидском государстве (и до перемещения его центра в Египет [969 г.], и после), в том числе для выполнения разнообразных ответственных поручений фатимидских халифов; они занимали важные государственные посты, становясь лицами влиятельными и приобретая богатства; составляли отряд дворцовой гвардии. Однако в политической борьбе, в отличие от испанских собратьев, слуги-*сакалиба* при Фатимидах практически участия не принимали (С. 276–278, 310).

Рабы-*сакалиба* в Машрике были наименее многочисленной группой из указанных; при дворах правителей из династии Аббасидов они выступали только в качестве дворцовых слуг и почти не участвовали в государственных делах (С. 298–299, 310).

Поскольку общую высокую оценку основательной монографии Д.Е. Мишина “*Сакалиба* (славяне) в исламском мире в раннее средневековье” пишущий эти строки уже дал в начале рецензии, остается только пожелать, чтобы книга была переиздана (хотя она и вышла тиражом в 1 тыс. экз., что сегодня считается вполне “пристойным” для научного издания), с учетом сделанных нами замечаний (быть может, они будут и у других рецензентов и заинтересованных ее читателей) и, по возможности, соображений.

© 2003 г. М.А. Васильев

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. М., 1995.

2. *Седов В.В.* Славяне: Историко-археологическое исследование. М., 2002.
3. *Мишин Д.Е.* Географический свод “Худуд ал-’Алам” и его сведения о Восточной Европе // *Славяноведение*. 2002. № 2.
4. *Константин Багрянородный.* Об управлении империей. М., 1989.
5. Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 1: Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку.
6. Полное собрание русских летописей. М., 1962. Т. 2: Ипатьевская летопись.
7. *Русинов Н.Д.* Древнерусский язык. М., 1999.
8. *Плетнева С.А., Макарова Т.И.* Южное городище у с. Витачева // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. М., 1965. Вып. 104.
9. *Рыбаков Б.А.* Любеч и Витичев – ворота “Внутренней Руси” // Тезисы докладов советской делегации на I международном конгрессе славянской археологии в Варшаве (сентябрь 1965 г.). М., 1965.
10. *Рыбаков Б.А.* Владимировы крепости на Стугне // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института археологии. М., 1965. Вып. 100.
11. *Литаврин Г.Г.* Христианство в Болгарии в 927–1018 гг. // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002.
12. *Флоря Б.Н.* Христианство в Древнепольском и Древнечешском государстве во 2-й половине X–1-й половине XI в. // Христианство в странах Восточной, Юго-Восточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. М., 2002.
13. *Новосельцев А.П.* Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М., 1990.

Славяноведение, № 4

Е. С. ГАЛКИНА. Тайны Русского каганата. М., 2002. 432 с.

Появление рецензируемой книги Е.С. Галкиной – безусловно знаменательное событие, примечательное прежде всего тем, что с ним открывается, кажется, новый этап в вековой полемике норманистов и антинорманистов. Сам автор, видимо, понимает это. Всю предыдущую историографию Е.С. Галкина рассматривает именно в контексте противоборства указанных течений (С. 14–36), заключая: “...российская наука сейчас впервые имеет достаточно материала, чтобы раскрыть загадку Русского каганата, мучившую ученых уже триста лет” (С. 38). Интересно, что при анализе историографии автор выделяет даже “неонорманистов”, позиция которых, по его мнению, не отличается от позиции норманистов старых. Утверждается, что со времен Байера и Миллера норманисты “не выдвинули ни одного нового аргумента” (С. 29). А вот у антинорманистов, как показывает появившаяся книга, – наоборот, подвижки. Если старый антинорманизм, начиная с Ломоносова, Геденова, Иловайского и кончая Рыбаковым и Седовым, однозначно отождествлял русов со славянами, то антинорманизм новый, ни-

чуть не менее резкий по отношению к своим оппонентам, на этом уже не настаивает. Е.С. Галкина присоединяется к мнению тех авторов, которые полагают, что “сообщения восточных источников дают возможность трактовать славян и русов как два разных этноса” (С. 187); вслед за этим начинаются рассуждения о том, что “главным государствообразующим и политически доминирующим этносом в каганате были носители степного варианта СМК (салтовомаяцкой культуры. – Д.М.) – сармато-аланы, которые в письменных свидетельствах называются русами” (С. 233). Русы, тем самым, – не славяне, и в этом отношении автор очевидно отходит от постулатов старого антинорманизма. Из его построений Е.С. Галкина заимствует отрицание какого бы то ни было влияния скандинавов на Русь и ее население, после чего она идет далее самостоятельно и ищет основателей Древнерусского государства среди алан. Тем самым оказывается, что древнейшее Русское государство основано неславянским этническим элементом!

Перейдем, однако, к вопросу о пресловутом “Русском каганате”. Е.С. Галкина говорит о “Русском” (читай – сармато-аланском) государстве с хаханом (каганом) во главе в верховьях Северного Дона, Оскола и на среднем и частично верхнем Дону. Это государство, по ее мнению, существовало до 30-х годов IX в., когда оно было разорено венграми, направленными Хазарским каганатом. Автор преимущественно опирается на данные археологии, однако они, если судить по книге, не дают ни малейшего основания констатировать существование “Русского каганата”: нет ни надписей каганов или о них, ни одного погребения кагана и т.д. И поэтому доказать факт существования “Русского каганата” как государственного образования (а не салтово-маяцкой культуры и ее носителей вообще) можно только на базе письменных источников.

Письменные источники дают следующую картину. Сведения о правлении кагана у русов обнаруживаются в “Бертинских анналах” и восточных источниках. Начнем с анналов. Император Людовик Благочестивый, приняв в 839 г. послов “хакана русов”, возвращавшихся через Франкское королевство домой из Византии, обнаружил, что они из народа свеонов. Идентификация этих свеонов со шведами общепринята в литературе, однако Е.С. Галкина пытается опровергнуть ее, ссылаясь на упоминание о племени свионов у Тацита. По ее мнению, свионы Тацита – небольшое островное балтийское племя (С. 43, 359). Эта трактовка слов Тацита неверна. Дело в том, что Тацит прямо относит свионов к германцам: “Да и оружие в отличие от прочих германцев (курсив мой. – Д.М.) не дозволяется у них (свионов. – Д.М.) иметь каждому” [I. С. 371]. Таким образом, свионы Тацита – вовсе не балтийская, а германо-скандинавская народность. Далее, автор настаивает на том, что “к концу I тысячелетия н.э. свеонами в западных источниках называли все население побережья Балтийского моря” (С. 43–44). Для такого обобщения необходима солидная работа над источниками, анализ не одного случая, но в книге не приводится никаких примеров в подтверждение данного тезиса. И тезис поэтому остается бездоказательным.

Самое интересное, однако, начинается далее. В предложении, следующем за процитированным, автор утверждает, что “как ясно указано в анналах, никакого отношения к русам свеоны не имели” (С. 44). Если это действительно так, непонятно, почему русы из “Русского каганата”, отправляя в Византию посольство для обсуждения жиз-

ненно важных для их государства вопросов, назначили своими послами людей, не имевших к ним никакого отношения. Объяснение Е.С. Галкиной: “Русский каганат имел какие-то контакты (и весьма тесные) (так какие все-таки: какие-то или весьма тесные? – Д.М.) с Прибалтикой, хотя и находился далеко от нее” (С. 44). Правители каганата, тем самым, доверили важнейшую миссию ... своим далеким торговым партнерам, с которыми их связывали только “какие-то” контакты. Кроме того, если это были представители балтийских племен – т.е., например, пруссов, леттов, ливов, эстов и т.д., то что понимали они в византийских делах, чтобы быть послами? Можно ли назвать хоть один бесспорно зафиксированный случай пребывания в Константинополе посольства какого-либо балтийского племени? Мне кажется, идея прибалтийского посольства в Константинополь слишком фантастична, чтобы ее можно было принимать всерьез.

С восточными источниками дела обстоят еще хуже. Автор находит “хакана русов” в “Анонимной записке” (сведения из трактатов Ибн Ростэ, Гардизи, ал-Марвази, в “Худуд ал-Алам” и т.д.). Сведения восточных источников изучаются в третьей главе (“Русский каганат: место на карте”) части I. Каково же место каганата на карте? Реально при локализации русов автор использует только “Худуд ал-Алам”, определяя восточную границу земель русов с хаханом во главе (С. 127). Подкрепляется это тем, что “древнейшими сведениями (из тех, что сохранились) о русах обладал анонимный автор “Пределов мира” (т.е. “Худуд ал-Алам”. – Д.М.) (С. 137). Но на основании чего сделан был такой вывод? Прийти к нему можно было только на основе текстуального анализа “Худуд ал-Алам” в сравнении с другими арабскими и персидскими источниками. Однако текстуальный анализ и вообще работа с источниками – не стихия автора. Насколько можно заключить из книги, Е.С. Галкина не владеет ни арабским языком, ни персидским: например, положение о том, что “арабские буквы *вав* и *фа* отличаются в скорописи только одной диакритической точкой” (С. 273), неверно. Но автору, как ни парадоксально для медиевиста, это и не нужно; она с пренебрежением пишет о том, что “если исследователь не понимает эпохи, следует неверной методологии, рассматривает источник сам по себе, а не в контексте событий его времени, то даже знание сотни языков не поможет ему приблизиться к истине” (С. 76–77). Интересно, может ли автор утверждать, что

ему удалось постигнуть эпоху, не видя, не понимая и не интерпретируя самостоятельно ни строчки, написанной людьми, жившими в то время? И еще вопрос из этой области: как тогда Е.С. Галкина берется судить об иранском или скандинавском характере названий днепровских порогов (С. 365–368)?

Но мы отвлеклись. Автор этих строк проделал текстуальный анализ сведений “Худуд ал-Алам”, основываясь на оригинале. Позволю себе отослать читателя к своей работе «Географический свод “Худуд ал-Алам” и его сведения о Восточной Европе» (Славяноведение. 2000. № 2). В ней я показываю, что географическая локализация по соседям с четырех сторон света, которую Е.С. Галкина пытается применить к событиям конца VIII–начала IX в., не соответствует “Анонимной записке” и представляет собой умозрительные построения писателя, жившего почти двумя столетиями позже. Я понимаю, что автор не доверяет построениям востоковедов, которых пренебрежительно называет “специалистами” (кавычки – Е.С. Галкиной), однако, может быть, для нее будут иметь больший вес слова В.В. Бартольда, фотография которого уважительно помещается на с. 103 книги: “Компилятор (автор “Худуд ал-Алам”, – Д.М.) соединил в одну картину данные, относящиеся к разным периодам, и, несмотря на скудость своих сведений, с мнимой точностью устанавливает географическое положение стран и народов. В этом отношении в системе нашего автора, по-видимому, нет противоречий, но едва ли эта система когда-либо соответствовала действительности” [2. С. 29].

А теперь – о главном: в какой вообще степени данные “Худуд ал-Алам” применимы к “Русскому каганату”? Упоминание о “хакане русов”, бесспорно, принадлежит к “Анонимной записке”, так как встречается во всех ее пересказах. Отметим, что “Анонимную записку” следует датировать 90-ми годами IX в., потому что в ней упоминаются Святополк I Великоморавский (870–894) (С.вит м.л.к.) и правитель Волжской Булгарии Алмуш (предположения о более точной датировке см.: [3. С. 57–58]). Если предположить, что “Анонимная записка” отражает положение дел периода существования “Русского каганата”, т.е. время до начала 40-х годов IX в., то Алмуш, которого арабский путешественник Ибн Фадлан видел в добром здравии в 922 г., должен был только править самое меньшее 80–85 лет. Человеку, понимающему эпоху (использую выражения автора), нетрудно сделать вывод, что

вероятность столь долгого правления практически равна нулю. А если сведения “Анонимной записки” относятся к 90-м годам IX в., упоминание о “хакане русов” просто не относится к “Русскому каганату”, который перестал существовать приблизительно за полвека до ее создания.

Если упоминания восточных источников не относятся к “Русскому каганату”, а отождествление “свеонов” “Бертинских анналов” с послами сармато-алан маловероятно, все построения относительно “Русского каганата” фактически повисают в воздухе. Нет больше ничего, что могло бы дать основание говорить о существовании “Русского каганата” или “кагана” на Дону. Оставим поэтому данную тему и перейдем к другой, не менее интересной: отношениям “государствообразующего этноса” – сармато-алан – со славянами и иными народами. Асов и праболгар Е.С. Галкина характеризует как “данныков и подчиненных” сармато-алан (С. 307). Но отношения со славянами, “также, видимо, вошедшими в состав Русского каганата, носили иной характер, чем с асами и праболгарами” (С. 311). А в чем, собственно, проявлялся этот “иной характер”, почему славяне занимали особое положение, выше праболгар и асов, последние из которых были родственны сармато-аланам? Чем они были лучше и в чем проявлялось их привилегированное положение? Отвлекаемся от археологических свидетельств контактов между различными этносами, которые подробно рассматриваются в работе: славяне вполне могли поддерживать контакты с представителями салтово-маяцкой культуры (включая обмен технологиями ремесла, смешанные браки и т.д.) и без “Русского каганата”. С письменными источниками получается и вовсе конфуз: единственное, что автор может привести, – это свидетельство “Анонимной записки” о том, что русы нападают на славян и берут их в полон (С. 312). Е.С. Галкина, конечно, понимает, что это – не самое лучшее доказательство “взаимовыгодного союза” (С. 309) или “мирных соседских отношений” (С. 321) между славянами и сармато-аланами, и объясняет эти набеги эпизодом, вскоре забытым в арабо-персидской литературе (С. 312). Пусть даже это так, но кроме данного “эпизода” никаких доказательств больше просто нет! Хотя, по большому счету, нет и этого “эпизода”: “Анонимная записка”, как мы видели, относится к более позднему времени.

Далее. “Русский каганат”, по мнению автора, пал под ударами венгров. Но мы зна-

ем, что несколько десятилетий спустя начинается известная нам по летописям история Древнерусского государства. Кем были русы киевские, если и название “рус” возводится в рассматриваемой работе к иранско-сарматским корням? Потомками сармато-алан, бежавших от венгров из “Русского каганата”? В представлении автора, сармато-аланами были все, от курляндцев до киевских князей (С. 364–365). И как же это подкрепляется фактами? Как, например, можно объяснить в свете теории Е.С. Галкиной показание мусульманского историка и географа ал-Йакуби о том, что в 844 г. некие язычники (маджус), называемые русами, совершили нападение на испанский город Севилью? Эти язычники тоже были сармато-аланами? А кто предпринимал морские походы против мусульманских владений на Каспии и на Константинополь? Получается, что опять сармато-аланы, коль скоро киевских князей, заключавших договоры с Византией, автор отождествляет с правителями Алании (С. 373). Аланы, тем самым, становятся под пером Е.С. Галкиной выдающимся народом мореходов, корабли которых бороздят волны Каспийского моря на востоке и Атлантического океана на западе. Только вот в источниках о флотилиях алан – полное молчание. Надеюсь, со временем автор укажет хотя бы один такого рода источник.

Еще вопрос. Как, основываясь на построениях Е.С. Галкиной, объяснить тот факт, что Лиутпранд Кремонский, описывая поход Игоря (у Е.С. Галкиной он – правитель алан, см. выше) на Константинополь в 941 г., говорит: “На севере сложилась народность, которую греки по свойствам тела называют русами, а мы (т.е. люди христианского Запада. – Д.М.) по месторасположению [их земель] – норманнами” [4. Р. 107]? Или в сармато-аланы следует зачислить и норманнов? А почему Святослав Игоревич, сокрушая в 965 г. Хазарию, разгромил также и алан (ясов)? Как плохо вяжется это с построениями автора о союзе киевской Руси с Русью аланской в X в. (С. 385)!

Отдельный вопрос, также связанный с историей Руси, касается источников. По какой-то причине Е.С. Галкина работает с любыми источниками – византийскими, восточными, западными, но только не с русскими. Хорошо, пусть автор отвергает как измышления норманистов рассказы о призвании варягов и их последующей деятельности – но разве не видно, что в русских источниках нет ни малейшего воспоминания о

временах “взаимовыгодного союза” славян и сармато-алан под сенью “Русского каганата”? Народная память сохранила зафиксированные в “Повести временных лет” предания о подчинении части славян аварам и хазарам, но вот о масштабной войне венгров с “Русским каганатом” и гибели этого могучего государственного образования ничего почему-то не отложилось. Не будем же мы всерьез утверждать, что правители Руси, в венах которых, если верить построениям автора об Олеге Вещем и Игоре, текла и аланская кровь, настолько хотели считать себя потомками Рюрика, что попутно распорядились убрать из летописей все, что хоть как-то напоминало о союзе славян и сармато-алан!

Как и автор, закончу разделом “Вместо заключения”. На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1. Проработка автором источников неудовлетворительна и приводит к грубым ошибкам (датировка “Анонимной записки”, свидетельство “Бертинских анналов”).

2. Автор произвольно отказывается от анализа целого пласта источников (прежде всего – древнерусских), не укладывающихся в концепцию “Русского каганата”.

3. Идея “Русского каганата” и его последующего влияния на Древнюю Русь основана только на неверном прочтении (а подчас – и сознательном искажении) источников и разваливается при первых же попытках текстологического, да и логического анализа.

4. Построения автора не дают ответов на ключевые вопросы в полемике норманистов и антинорманистов (например, почему в целом ряде источников русы идентифицируются с норманнами).

© 2003 г. Д.Е. Мишин

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О происхождении германцев и местоположении Германии. 45. // *Корнелий Тацит*. Сочинения в двух томах. М., 1993. Т. 1.
2. Худуд ал-Алем. Рукопись Туманского. С введением и указателем В.В. Бартольда. Л., 1930.
3. *Мишин Д.Е. Сакалиба* (славяне) в исламском мире в раннее средневековье. М., 2002.
4. *Liutprandi episcopi cremonensis Opera omnia*. Napover, 1877.

Бялата емиграция в България. Материали от научна конференция. София, 23 и 24 септември 1999 г. София, 2001. 455 с.

Белая эмиграция в Болгарии. Материалы научной конференции

Жанр рецензии медленно, но верно умирает: все предпочитают “писать время”, а не “описывать”, как это делают другие. И пишущий эти строки не исключение. Тем не менее сесть за письменный стол меня побудили следующие причины. Во-первых, я не хотел, чтобы болгарская публикация “прошла мимо” исследователей: все знают о ней, но никто так и не захотел откликнуться. Во-вторых, сама болгаро-русская тематика в современных научных исследованиях в основном подается через “советскую” призму времени, где есть место Коминтерну, репрессиям, Москве и ее “способным ученикам”, той же “политике интересов”, но нет места “политике чувств”.

Итак, судя по книге, сама конференция была весьма представительной. В сборнике содержится свыше полусотни выступлений, большинство из которых принадлежат болгарским ученым. Статус международной обеспечивало конференции участие известного историка из Белграда М. Йовановича и нескольких российских исследователей.

Последнее можно объяснить фразой А.С. Пушкина о том, что “мы ленивы и нелюбопытны”, добавив – “нас никто не любит и не дает нам денег”. И дело не только в деньгах, но и в отсутствии должной информации, которую зачастую получаешь в виде уже изданной книги. Именно тут так необходима “глобализация” ученого сообщества, личностные контакты. Поэтому становится актуальным лозунг: “Ученые всех стран, соединяйтесь!” Некоторая шаржированность этой фразы может быть с лихвой оправдана уже тем, что в нашем случае ученых разных стран объединяет Россия, ее эмиграция, ее история.

Этой “последней” посвящен в книге первый раздел, который открывает вводная статья Л. Любеновой и Г. Рупчевой об источниковедческих и историографических проблемах, связанных с исследованием белой эмиграции в Болгарии. Политизированность самой темы, своеобразная ее неприкасаемость, вернее, конъюнктурность – все

это долгое время обуславливало изучение “белогвардейцев”, как враждебной силы. Та же источниковая база, как подчеркивают авторы, долгое время использовалась выборочно, привлекалась в зависимости от желаемого конечного результата, т.е. историки сами делали историю. Изменения в лучшую сторону наступили лишь с началом разрушения старой идеологии, господствовавшей в странах социалистического лагеря. И сейчас главная задача в сфере болгарского источниковедения, указывают авторы, заключается в деятельности по обмену информацией. В болгарских архивах отложилось немало документов по русской эмиграции 20–40-х годов XX ст., например материалы, связанные с именами Н.П. Кондакова, М.И. Ростовцева, Н.Н. Глубоковского, П.М. Бицилли. При чтении строк, посвященных трудам, положенным болгарскими коллегами на изучение прежде всего культурной и научно-просветительской деятельности русских эмигрантов, равно как и о работе в сфере систематизации архивных документов и издательской деятельности, возникает вопрос – почему до сих пор в мире нет ни одного журнала по русской эмиграции? Конечно, “Славяноведение” уже который год посвящает свой четвертый номер данной теме. Но это очень мало, учитывая, что крысы гораздо быстрее справляются с бумагами, нежели историки, многие из которых до сих пор “питаются и кормят” читателей “вторсырьем”.

Относительно периодизации болгарской историографии по теме каких-либо особых нововведений не наблюдается. Традиционен первый период, охватывающий время до установления просоветского строя в Болгарии. Закономерен второй – до начала 1970-х годов, как наиболее бедный на публикации. Последующее время, как видно из текста, весьма трудно поддается периодизации, но бесспорным является нарастание интереса к белой эмиграции – от новой постановки казалось бы решенных вопросов, связанных с врангелевцами, известным заговором 1922 г.,

до разработки благодатной и благодарной темы русского культурного влияния, исследования научного наследия русских ученых. В то же время трудно полностью согласиться с утверждением, что эмигрантская политическая мысль не “успела родить ничего позитивного, кроме анемичной теории евразийства”, которая скорее разъединяла, чем объединяла разные политические центры эмиграции. Здесь нелегко полемизировать заочно, не зная, какой смысл вкладывают авторы в слово “позитивный”. Тем не менее если вторая часть авторской позиции не вызывает возражений, то первая все же нуждается в уточнении.

Но главное не в этом вопросе, требующем отдельного исследования, а в информации, которую несет в себе статья Л. Любеновой и Г. Рупчевой, взявших на себя нелегкий труд по координации работ и налаживанию международного сотрудничества, в том числе и с Институтом славяноведения РАН. Любопытный читатель может почерпнуть в статье немало интересного, например о книге Д. Даскалова “Белая эмиграция в Болгарии”, вышедшей в 1997 г. в Софии. И следует согласиться с авторами, что изучение русской эмиграции в Болгарии следует рассматривать как балканское звено в общем процессе по исследованию “России в рассеянии”.

Этому “звену” и посвящен сборник. В историческом разделе, кроме упомянутого выше исследования, содержатся еще 15 докладов, оформленных в виде статей, посвященных разнообразным и в то же время типичным в чем-то сюжетам. Здесь и взаимоотношения русской эмиграции с государством, общественными институтами (А. Лунин, Ц. Кьосева), профессиональный и культурный портрет белой эмиграции (Д. Даскалов), тема евразийства с его “исходом к Востоку” (П. Димитрова), вживание русских беженцев в новый быт (М. Иванович, наш белградский коллега), советское посольство и белая эмиграция (Л. Ревякина), различные аспекты военной эмиграции (Л. Спасов, Д. Зафиров), оппозиционная печать и ее отношение к белоэмигрантам (А. Златева), русские эмигранты в медицине (П. Иванова, Д. Минчев, М. Апостолов), белоэмигранты в Родопах (М. Сираков, К. Чакърова), а также портреты М.И. Ростовцева (М. Тачева), В.А. Мякотина (М. Велева), П.М. Бицилли (А. Тончев). Помещена и статья В. Тошковой о русской эмиграции, выстроенная на материалах Национального архива США. Уже из этого перечисления заголовков виден разнородный в определении самой эмиграции: для одного она “русская”,

для другого “белая”, для третьего определяется словом “беженцы”. Однако главное в том, что авторы на хорошем научном уровне, с привлечением архивных и иных материалов дали объемную картину русского бытия в Болгарии, эмиграционной политики Болгарского государства. Тут и сюжеты о материальной помощи, содействии в трудоустройстве, в том числе в Софийский университет, о русских учебных заведениях, участии эмигрантов в болгарской политической, экономической, культурной и научной жизни и др.

При этом в самой эмиграции наблюдаются четыре этапа. Первый этап, как подчеркивает Ц. Кьосева, охватывает 1919–1923 гг., т.е. период правления БЗНС. Второй – 1923–1934 гг., время между двумя известными переворотами. Третий – 1934–1944 гг., от установления советско-болгарских дипотношений до событий 9 сентября. Четвертый этап – 1944–конец 1950-х годов, т.е. до ликвидации “эмигрантской проблемы”, когда советское правительство пошло на предоставление эмигрантам права выезда в СССР. Таких в 1958 г. насчитывалось около 5 тыс. человек; т.е. свыше 90% всех эмигрантов, имевших советский паспорт. В стране тем не менее оставалось около 7 500 эмигрантов. Поэтому следует говорить не о “ликвидации проблемы”, а о некоем другом феномене, связанном как с успешным вживанием в болгарскую жизнь, так и с определенным отстранением от советской власти, воспринимаемой резко отрицательно. В целом же, судя по подсчетам Д. Даскалова, в довоенной Болгарии насчитывалось в 1930-х годах 20 тыс. эмигрантов, а по данным М. Ивановича, эта цифра соответствует 1934 г., к концу 1930-х годов она снизилась до 15 500 человек.

Сопоставляя русскую эмиграцию в Болгарии и Югославии, приходишь к нехитрому выводу о схожести многих процессов в эмигрантской жизни в обеих странах. Хотя, безусловно, следует подчеркнуть военизированный характер русской эмиграции в Болгарии. Достаточно вспомнить армию барона Врангеля. И в то же время именно София стала, хотя и на короткое время, в 1920–1922 гг., центром евразийства, которое и сейчас имеет своих последователей. Нет нужды говорить о том участии, которое проявил помнивший своих освободителей болгарский народ к русским “братушкам”.

Безусловный интерес представляют сюжеты, связанные с разведывательной деятельностью и вербовкой агентов в среде эмиграции дипломатами страны Советов

(Л. Ревякина). Красный флаг СССР развевался в Софии и в годы Второй мировой войны (мало кто знает, что Болгария продолжала поддерживать дипломатические отношения с СССР в то время). Сжатый обзор по этой проблематике, до сих пор во многом покрытой завесой секретности, представляет собой важный шаг на пути “узнавания” себя и своей истории в прошлом.

Этой цели посвящена и статья В. Тошковой. Можно сказать, что в центре ее исследования находятся два человека: знаток Балкан, сотрудник Управления стратегических служб (УСС) США полковник В.И. Лебедев, исправно поставлявший аналитические донесения начальству в годы Второй мировой войны, и Бернард Яроу (Борис Яров), также сотрудник УСС США, занимавшийся проблемами “ухода” Болгарии как от третьего рейха, так и от “Оста”. На основании обширных архивных данных очерчена картина деятельности русских эмигрантов на службе США в то сложное военное время, когда борьба с Гитлером не заслоняла планов и акций по будущему переустройству Европы.

Достаточно большое место в материалах конференции отведено военной эмиграции, что не удивительно по причинам, указанным выше. По данным Л. Спасова, в 1921 г. Болгария приняла свыше 18 тыс. солдат и офицеров. Среди них были 52 участника войны 1877–1878 гг., для которых болгарское правительство, как подчеркивает Д. Зафиров, делало все возможное, чтобы облегчить их пребывание на братской земле. При этом следует отметить тот непреложный факт, что само присутствие белоэмигрантов, как подчеркивает А. Златева, резко увеличило политизацию болгарского общества, что характерно не только для Болгарии, но и для Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 г. Югославия). Однако при всех резких оценках русской эмиграции в оппозиционной прессе не следует забывать многообразную помощь русских врачей, например, доктора Р.Ю. Берзина, академиков Г.Е. Рейна и В.П. Воробьева и многих других, о которых рассказывают П. Иванова и ее соавторы. Свой след “белогвардейцы” оставили и в сфере административного управления, а также просвещения, в том числе и духовного, на ниве пастырства в далеких Родобах. Соединение М. Сираковым, К. Чакъровой темы русской эмиграции и краеведения представляется одним из перспективных направлений, тающим немало неожиданного для исследователей. Гораздо лучше обстоит дело с изучением

“звезд первой величины”, как тех же Ростовцева, Бицилли или Мякотина, последнему из которых М. Велевой посвящена обстоятельная статья с приложением библиографии его работ.

В целом все статьи в этом блоке достаточно ровно выдержаны, однако, на мой субъективный взгляд, выделяются “шпионские” сюжеты, придающие своеобразную остроту остальным исследованиям.

Далее в книге помещены посвященные литературе и культуре следующие статьи: о литературной деятельности А.М. Федорова, М. Попруженко, К. Бальмонта в Болгарии (Л. Владева), о русской журналистике (М. Златева), о вкладе эмиграции в духовную жизнь Болгарии (М. Каназирска), о русском присутствии в болгарской литературной жизни (Р. Русев), о белоэмиграции в представлениях болгар (М. Галановой), о книге “Дети русской эмиграции” (Т. Шамрай), о театральных деятелях (Е. Даскалова), о кинематографистах (А. Янакиев), о белоэмигрантах в Пиринском крае (К. Дашева), о русских учителях в Кюстендиле (Г. Керелски), о филологе А.П. Евдокимове (Цв. Йотов), поэте А. Федорове (Н. Гичева), об учителе и писателе А.П. Дехтерева (И. Петров), о богослове и публицисте Г.С. Петрове (А. Борзенков), об актере, режиссере и педагоге Н.О. Массалитинове (А. Дертлиева-Киселиновска), о музыканте К.И. Могутине (Й. Янева), об изографе Н.Е. Ростовцеве (А. Филева), о художнике С.А. Шишове (Г. Рупчева).

При всей разносторонности тем и подходов есть нечто общее, присущее большинству работ, – это, с одной стороны, определенная эскизность исследований, а с другой – некоторая “всеобщность”. Здесь, видимо, следует учитывать то обстоятельство, что в отличие от той же “старинной” и, грубо говоря, конъюнктурной темы военной эмиграции, изучение “белогвардейской” культуры не “приветствовалась” “начальством от истории”. Поэтому всякое начало есть только первый шаг на долгом пути, и тут надо только благодарить тех, кто его сделал. В то же время хотелось бы верить, что упомянутая “эскизность” не стала определяющей чертой исследований. Иначе у нас будет скольжение по поверхности бытия. И вместо живого человека получится парадный портрет. Так, скажу, что личность того же расстриги-попа Григория Петрова заслуживает гораздо большего внимания и хотя бы анализа его биографии, можно без детства и даже юности. Хочу отметить, что авторам надо точнее называть свои статьи,

чтобы не вводить в заблуждение читателей, как то находим в материале М. Каназирской. Возможно, с ее стороны это сугубо оригинальный прием-западня: только с третьей страницы ее отличного эссе начинаешь понимать, что речь пойдет прежде всего о таких известных личностях, как К.В. Мочульский, А.Н. Грабарь, Г.В. Флоровский, Н.О. Массалининов, об их “контактах” с болгарской культурой, в которую они внесли свой вклад. Безусловно интересны несколько страничек о поэте Александре Федорове – составителе и переводчике “Антологии болгарской поэзии”. Из других статей хотелось бы отметить героев “провинции”. Речь идет, например, о шуменской “неизвестной знаменитости” Константине Ильиче Могутине и его балалаечном оркестре и о провинциальном учителе, художнике, музыканте, общественном деятеле Сергее Алексеевиче Шишове, отдавшем свой “долг белогвардейца” шестимесячным пребыванием в тюрьме в 1946 г. и отпущенным на свободу теми же властями, снявшими все обвинения во “вредительстве”.

Завершают первую часть сборника материалы по религии. Вначале помещено предоставленное архимандритом Гавриилом (Диневым) жизнеописание схиигумении Марии (Дохторовой), воспоминания которой бесценны для истории женского монашества в Болгарии, а также в Королевстве СХК. В частности, они усложняют привычную картину о том же Хоповском монастыре в Сербии. Разница восприятия монастырской жизни схиигуменией Марией и ее сестрами еще раз свидетельствует о необходимости осторожности в вопросах, касающихся веры. Добавлю, что недавно (в 2002 г.) на русском языке была выпущена книжка “Схиигумения Мария (Дохторова). Жизнеописание. Письма”, составленная уже ставшим митрополитом Гавриилом.

Это своеобразное вступление к теме продолжено Е.А. Бондаревой в обширной статье под названием “Историческая судьба России в трудах иерархов русской православной церкви за рубежом. Митрополит Антоний (Храповицкий), митрополит Анастасий (Грибановский), архиепископ Серафим (Соболев)”. По своей сути ее доклад, посвященный сложнейшей теме православия и государства, веры и революции, может быть представлен на любой другой конференции, где бы обсуждалась тема России. Тем не менее он связан с Болгарией прежде всего через управлявшего русскими православными приходами в Болгарии владыку Серафима, автора книг “Русская идео-

логия” (София, 1934) и “Об истинном монархическом мирозерцании” (София, 1941). Своими трудами, подчеркивается автором, он обозначил “наиболее полно” сформулированный владыками Антонием и Анастасием православный подход к истории России, хотя для многих этот подход будет неприемлем уже по той причине, что заключал в себе единство самодержавия и православия – этой “русской идеологии”. И хотя в исследовании Е.А. Бондаревой есть места, которые требуют расширительного толкования, прежде всего относящиеся к взаимоотношениям Русской Православной Церкви за границей с Московским Патриархатом, тем не менее ее работа представляется ценной уже по причине “возбуждения” исторической памяти и аккумуляции “старых вопросов и ответов”, не утративших своей значимости и в наши дни.

Владыке Серафиму посвящены еще две статьи. В первой А.С. Новикова, с большим чувством рисуя картины его пастырского служения в Болгарии, подчеркивает, что он был первым православным архиереем, вступившим в евхаристическое общение с Болгарской Экзархией во время схизмы, наложенной в далеком 1872 г. Константинопольской Патриархией за нарушение болгарскими канонами (снята в 1945 г.). Во второй И. Латковски свою задачу видел в том, чтобы рассказать об архиепископе Серафиме как защитнике чистоты православной истины, выступавшим с обличением “софианской ереси” у отца Сергия Булгакова, отца Павла Флоренского, Владимира Соловьева.

Не был обойден вниманием и “дедушка Глубоковский”, о котором коротко рассказал И.Ж. Димитров, подчеркнувший его роль в подготовке болгарских научных кадров на Богословском факультете Софийского университета. О русских богословах, основных моментах их биографий, а также о преподавательской деятельности в Болгарии сжато рассказывают Адрианопольский епископ Евлогий и Л. Савова.

В целом представленные доклады не лишены дискуссионного начала. В то же время жаль, что Л. Любенова, специалист по болгаро-русским церковным отношениям в новейшее время не смогла по каким-то причинам выступить и представить свой доклад на страницах книги. Я прекрасно понимаю, что сейчас идет процесс не только накопления, но и осмысления материала, на что требуется время. Главное, чтобы этот процесс не был прерван или извращен в угоду “большой политике”.

Вторая часть книги отведена документам и воспоминаниям. Здесь помещена информация о фонде Русского зарубежья РГБ (Н.В. Рыжак), о документах о русской эмиграции в болгарских архивах (Д. Илиева, О. Пунев, Л. Цветкова, Д. Билярска), о музее "Болгария и славянский мир" (Н. Ангелова), об архиве князя А.Л. Ратиева (Л.А. Ратиев). Там же помещен очерк А. Рошковской о своем роде, связанном с Болгарией, уделено место коротеньким воспоминаниям Т. Паспалеевой о семье Базилевич и их кукольном театре. С интересом читается рассказ увидевшего Болгарию в 1944 г. солдата Советской армии Ю. Белого о своих встречах с князем Н.И. Лобановым-Ростовским, и с П.М. Бицилли.

Нашла свое отражение в книге и дискуссия участников конференции по ряду вопросов, в частности по военной эмиграции.

Итак, книга закрыта. Однако многие проблемы, темы и личности еще ждут своего исследователя. Поэтому еще раз позволю себе напомнить о желательности международной координации ученого сообщества в сфере изучения русской эмиграции в Болгарии, на Балканах, в мире, необходимости организации соответствующих регулярных конференций ученых и выпусков по их результатам книг, которые бы включали в себя сведения об авторах публикаций для установления контактов и обмена информацией.

© 2003 г. В.И. Косик

Славяноведение, № 4

L. HARBUL'OVÁ. Ruská emigrácia a Slovensko (Pôsobenie ruskej pooktóbrovej emigrácie na Slovensku v rokoch 1919–1939). Prešov, 2001. 235 s.

Л. ГАРБУЛЕВА. Русская эмиграция и Словакия (Деятельность русской послеоктябрьской эмиграции в Словакии в 1919–1939 годах)

Книга словацкой исследовательницы Любицы Гарбулевой посвящена жизни и деятельности русских эмигрантов на территории Словакии в межвоенный период. Ученые, занимающиеся изучением российской диаспоры в ЧСР, в основном сосредоточивали свое внимание на пражском ее центре, Словакия как место пребывания выходцев из России оставалась в основном вне поля их зрения. Именно поэтому Л. Гарбулева обращается к исследованию этих сюжетов. По проблеме русской эмиграции ею уже была опубликована монография [1] и ряд интересных статей (см., напр., [2]), получивших заслуженное признание специалистов.

Рецензируемая книга представляет собой плод многолетней работы. В монографии использованы многочисленные архивные материалы из 22 центральных и местных чешских и словацких архивов (44 фонда), публиковавшиеся документы и периодика (23 издания газет и журналов). Все это составляет внушительно-источниковую базу и свидетельствует о кропотливости автора. Список использованных книг и статей также значителен (около 150 позиций). Интересны и девять документальных приложений к книге.

Книга состоит из введения, шести глав, заключения, списка источников и литературы, краткого резюме на английском и русском языках, именного указателя и документальных приложений. Структура монографии хорошо продумана, научный аппарат и приложения содержат ценную дополнительную информацию.

Во введении Гарбулева затрагивает вопрос терминологии, останавливается на характеристике русской эмиграции вообще, в частности, послеоктябрьского периода. Автор определяет место эмигрантов межвоенного периода и их специфику в истории русского зарубежья. Там же Гарбулева достаточно подробно рассматривает историографию вопроса. К сожалению, отдельные интересные работы о русских эмигрантах остались вне поля ее зрения (напр., [3]) (это связано, вероятно, с тем, что работа к моменту их появления уже находилась в производстве).

Повествование начинается с рассмотрения межвоенной Чехословакии как одного из центров русской эмиграции в Европе, где были созданы уникальные условия для жизни выходцев из России благодаря чехосло-

вадкой государственной помощи, так называемой русской акции. Кроме Праги, эмигрантскими центрами в ЧСР являлись Пришбрам, Моравская Тршебова, Брно, Ужгород. В Словакии две значительные по величине колонии русских расположились в Братиславе и Кошицах. В целом их численность в Чехословацкой республике колебалась от 6–15 тыс. человек в 1920–1921 гг. до 25 тыс. в 1925 г. и 8 тыс. в 1939 г.

Вторая глава посвящена российским эмигрантам непосредственно на территории Словакии. Русские появились там еще в конце Первой мировой войны (в Кошицах в лагере военнопленных насчитывалось 1100 русских). После окончания войны часть интернированных была репатриирована, но были и те, кто предпочел остаться в Словакии, с 1923 г. уже в новом статусе – эмигрантов. С июля 1921 г. в Словакию стали прибывать политические эмигранты. Первоначально Словакия служила лишь транзитной территорией. Затем, с увеличением числа прибывающих в ЧСР русских, часть их была размещена в словацких городках и селах. В Словакию приезжали специалисты на определенные рабочие места, например 12 судебных чиновников. В словацких высших школах появились русские студенты. Прибывали и эмигранты-нелегалы, но их количество было невелико. Огромную помощь в организации жизни россиян в Словакии, особенно на начальном этапе, оказал братиславский филиал пражского Земгора во главе с И.А. Якушевым. Большинство русских в Словакии проживало в деревнях, а не в городах, так как там было легче найти работу. Однако постепенно значительные колонии русских формируются и в городах, прежде всего в Братиславе. Русские в Словакии, как и везде за рубежом, в основном занимались физическим трудом, лишь 7–10% из них были заняты умственной деятельностью. Автор признается, что точное количество русских в Словакии подсчитать невозможно, так как отсутствовала полная статистика. Но даже в масштабах ЧСР их было немного, приблизительно 1,5–2 тыс. человек. В начале 1920-х годов среди эмигрантов преобладали рабочие, ремесленники и крестьяне. К началу 1930-х годов ситуация несколько изменилась: в Словакию стали прибывать выпускники пражских высших школ. Это были, прежде всего, инженеры лесного хозяйства, агрономы, строители, банковские служащие, торговцы, химики, а также специалисты со средним техническим образованием. Многие из них работали на строительстве железных и шоссежных до-

рог. В Словакии трудились и русские врачи. Эмигрантская интеллигенция была занята на государственной и общественной службах.

Новый прилив русских в Словакию произошёл на рубеже 1930–1940-х годов, что связано с немецкой оккупацией Чехии и созданием протектората Чехии и Моравии, в котором положение русских значительно ухудшилось. Словакия же предложила русским специалистам выгодные условия работы. Но так как процент интеллигенции среди эмигрантов оставался в целом небольшим, то это, по мнению Л. Гарбулевой, сказалось и на весьма слабой политической активности русских в Словакии. В материальном отношении жизнь эмигрантов была весьма скромной.

Данная глава весьма подробно знакомит читателей и с культурно-просветительной деятельностью русской эмиграции: выступлениями театральными трупп, литературными вечерами, беседами и т.д., которые способствовали сближению со словацкой общечеловеческой общностью.

Третья глава посвящена пребыванию русских студентов в словацких средних и высших школах. Их было немного – 1–2% от общего количества русских студентов в Чехословацкой республике. Л. Гарбулева приводит следующие данные: в Праге училось 76% русских студентов, в Брно – 19%, в Пришбраме – 3%, в Братиславе – 2%. Русские в основном получали образование в 11 словацких средних специальных школах, прежде всего сельскохозяйственного профиля, и на отдельных факультетах университета им. Я.А. Коменского в Братиславе. Самыми многочисленными и активными являлись студенты-медики. Обучение проходило в соответствии с планом, в рамках “русской акции”, и при материальной поддержке Министерства иностранных дел ЧСР.

В четвертой главе рассказывается о деятельности русской интеллигенции в Словакии. Раздел весьма любопытен тем, что Л. Гарбулева представляет в нем персоналии отдельных конкретных личностей, приводит сохранившиеся сведения об их жизни в эмиграции. Эти данные весьма важны, в том числе и для составителей биографических словарей деятелей русского зарубежья. Автором приводятся достаточно подробные сведения о научно-педагогической деятельности историка Е.Ю. Перфецкого, филолога В.А. Погорелова, историка права И. Маркова, специалиста по международному праву Г.Н. Гарина-Михайловского, зоолога М.М. Новикова, геолога Д. Андрусова, философа Н.О. Лосского, слависта-языковеда

А.В. Исаченко, инженеров К. Белоусова, Н. Николкина и А. Георгиевского.

Деятельность представителей русской интеллигенции в Словакии Л. Гарбулева оценивает очень высоко: русские специалисты не только способствовали развитию науки, но и заложили основы ранее не существовавших в Словакии научных дисциплин.

В следующей, пятой главе речь идет о двух центрах русской эмиграции в Словакии, где сосредоточивалась вся деятельность эмигрантских объединений. Одной из особенностей российской диаспоры в Словакии была ее распыленность по всей территории. Лишь в двух крупнейших городах – Братиславе и Кошицах – концентрировалось довольно значительное количество выходцев из России. Не случайно именно там возникло большинство различных их кружков и союзов. Всего за межвоенный период Гарбулева насчитала 15 официально зарегистрированных объединений, которые по характеру деятельности делились на культурные, благотворительные и профессиональные. Крупнейшим русским центром в Словакии являлась Братислава, где обосновалась половина всех русских эмигрантов Словакии. Преобладали там бывшие военные, интеллигенция и студенты. В Братиславе образовались и действовали 12 объединений. Гарбулева рассказывает о деятельности каждого из них, сгруппировав в соответствии с датами их возникновения. Первое из этих объединений – Русский кружок – возникло еще в 1920 г. Кружок носил культурный характер и ставил своей целью осуществлять чешско-словацко-русское сближение. Галиполийское землячество образовалось позже, в 1926 г., как братиславский филиал пражского Галиполийского объединения. В его уставе были заявлены благотворительные цели. В Братиславе действовал Общеказачий союз учащихся в высших школах Чехословакии, возникший в 1927 г., так же как филиал пражского Союза казаков-выпускников высших школ в Чехословацкой республике. Примером профессионального объединения может служить Союз русских инженеров и техников в Чехословакии с его братиславским филиалом, созданным в 1931 г.

В Кошицах действовали две организации – Русский кружок и Объединение (Еднота) русских эмигрантов.

В книге, однако, ничего не говорится о пятнадцатом объединении: в работе нет сведений о том, где оно действовало и как называлось.

Шестая глава посвящена Ладомировой – конфессиональному центру русской эмигра-

ции. Автор ранее уже подробно знакомила читателей с историей русской православной миссии в Ладомировой [1]. Здесь с 1924 г. благодаря усилиям архимандрита Виталия (Максименко) стала действовать церковная типография и был построен храм. Издательская деятельность миссии, по мнению Л. Гарбулевой, была весьма успешной. Так, например, выходящая раз в неделю газета “Православная Русь” имела 1 тыс. подписчиков и распространялась в 48 странах. Тираж “Русского календаря” накануне Второй мировой войны достигал 4 тыс. экз. Миссия действовала более 20 лет (1923–1944). Исследовательница выделяет три периода в ее деятельности: 1) 1923–1928 гг. – начало формирования миссии; 2) 1928–1934 гг. – успешная деятельность церковной типографии как продолжательницы Почаевской, переход к монастырскому образу жизни; 3) 1934–1944 гг. – основная деятельность – миссионерская. Роль миссии в Ладомировой как духовного центра русского зарубежья была велика, так как только здесь в межвоенной Европе издавалась православная литература на русском языке.

В заключении автор излагает основные выводы работы. Несмотря на малочисленность, русская диаспора в Словакии была неотъемлемой частью Зарубежной России. Вместе с тем в работе подчеркнуты и специфические черты русской диаспоры в Чехословакии. Л. Гарбулева указывает, что ориентация большинства русских эмигрантов на возвращение на родину (после падения власти большевиков) не способствовала их быстрой адаптации и ассимиляции. Однако во многом благодаря эмиграции словацко-русские взаимные контакты и связи росли и крепли.

К сожалению, в книге имеется ряд повторов (с. 57–58, 116), неточностей (на с. 100 говорится о заграничных поездках Перфекцкого в 1920-е годы из Словакии в Германию, Польшу, Будапешт, Вену и Прагу, однако в 1924 г. Прага и Братислава находились еще в едином государстве), опуск (на с. 110 вместо Новгородцев в тексте читаем *Новгородец*) и пропусков (с. 116 – нет данных о конце жизни М.М. Новикова, хотя известно, что он скончался 12 января 1965 г. в Нэйаке под Нью-Йорком) (см.: [4. С. 463]). При общей характеристике волн российской послеоктябрьской эмиграции следовало хотя бы кратко сказать об эмиграции (или, скорее, иммиграции) конца XX в. и современной эмиграции из России, связанной в основном с экономическими причинами.

Указанные незначительные недочеты не умаляют достоинств книги, восполнившей существовавший пробел в изучении российского рассеяния за рубежом.

© 2003 г. *Е.Серапионова*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Harbul'ová L.* Ladomirovské reminiscencie. Z dejín ruskej pravoslávnej misie v Ladomirovej 1923–1944. Prešov, 2000.
2. *Гарбулева Л.* Русская эмиграция в Словакии между двумя войнами // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между мировыми войнами. Результаты и перспективы проведения исследований. Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов. Прага, 1995; *Harbul'ová L.* Ladomirová – konfesionálne stredisko emigrácie na Slovensku // Ruská a ukrajinská emigrácie v ČSR v letech 1918–1945 (Sborník studií –3). Praha, 1995; *Harbul'ová L.* Evidencie a štatistiky ako prameň poznania ruskej emigrantskej komunity na Slovensku v medzivojnovom období // Obyvatel'stvo Karpatskej kotliny. Prešov, 1997.
3. *Косик В.И.* Молодая Россия в эмиграции // Славяноведение. 2000. № 4; *Chinyaeva E.* Russians outside Russia. The Émigré Community in Czechoslovakia 1918–1938. München, 2001.
4. Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. М., 1997.

Славяноведение, № 4

Kronika kulturného, vedeckého a spoločenského života ruskej emigrácie v Československej republike. Praha, 2000. Dil I: 1919–1929. 368 s.; Praha, 2002. Dil II: 1930–1939. 640 s.

Хроника культурной, научной и общественной жизни русской эмиграции в Чехословацкой республике. Ч. I: 1919–1929; Ч. II. 1930–1939

В Славянском институте Академии наук ЧР вышло в свет новое важное научное издание по истории русской эмиграции в межвоенной Чехословакии. Это – плод кропотливого и самоотверженного труда небольшого коллектива во главе с Л. Белошевой, куда входили Д. Гашкова, Г. Дюссембаева, А. Копршилова, Ю. Ларионова, Т. Любимова, Ю. Янчаркова.

“Хроника” строится по образцу других подобных летописей событий из жизни русской эмиграции [1], но в то же время имеет свою специфику, которая выражается в широте источниковой базы (в виду того, что в Праге не существовало долговременного общего печатного органа русских эмигрантов), а также в принципах построения информации о событиях, предельно ориентированной на нужды исследователя, не имеющего возможности обратиться к первоисточнику.

В результате “Хроника” приобретает значение ценного пособия для каждого исследователя, занимающегося историей

культурной, научной и отчасти общественно-политической жизни русской эмиграции в ЧСР в 1919–1939 гг. В книге тщательно продумано построение каждой информационной заметки. Оно включает в себя дату события, название общества или организации, где оно произошло, города (если оно имело место вне Праги) и даже адрес. Далее дается краткое содержание события и называются главные его участники. Ниже указываются источники информации. Например:

27 февраля [1930 г.] – РУССКИЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Доклад В.В. Саханева “Борис Годунов и смерть царевича Димитрия”. В прениях приняли участие А.А. Кизеветтер, В.А. Мякотин, С.Г. Пушкирев.

Roč. SLÚ. III. 1931.

[26 февраля 1932 г.] – ФОНД СПАСЕНИЯ РОДИНЫ. Доклад Н.А. Цурикова “Политические группировки зарубежья и активные задачи”. В прениях выступили: Шахматов, Карпович, Чернавин, Личачен

ко, Мейснер, Антипов, Вергун, Чапчиков, Варшавский, Скачков и др.

Měst'anská beseda

Днев. 19.2., 26.2.1932; *Едн.* 26.2., 4.3.1932

14 января [1935 г.] – СОЮЗ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ. Торжественное заседание по случаю юбилея писателя Вас.И. Немировича-Данченко. Речи: С.В. Завадский, Е.А. Ляцкий, Й. Горак. Чтение адресов и приветствий. Чтение отрывков из произведений юбиляра на русском и чешском языках. Хор им. Архангельского исполнил “Гей, славяне” и “Многая лета”.

FF UK

Сл. 20.12., № 5.27.12.1934.36, 11.1.1935, № 2; *Нов.* 24.1.1935; *Роџ.* SLÚ, VIII.1935

10 декабря [1938 г.] – РУССКИЙ СВОБОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. Открытие первого Карпато-русского семинара. Руководитель – Д.Н. Вергун. Лекция Д.Н. Вергуна о русских и украинно-сепаратистских влияниях на Карпатской Руси. Выступления с декламацией Е. Балецкого, Б. Чеботарева, Д.Н. Вергуна (чтение собственных стихов), литературная программа Общества карпаторусских студентов “Возрождение”.

Днев. 15.12.1938

Второй том “Хроники” предвяет подробное предисловие Л. Белошевской о ее содержании и принципах издания. Книга снабжена перечнем сокращений периодических изданий и архивов, частично аннотированным именованным указателем и указателем организаций и учреждений, а также указателем географических названий, уникальным перечнем адресов обществ и учреждений, списком необходимой литературе по теме.

Для создания такой внушительной базы данных, как рассматриваемая “Хроника”, ее составители проделали поистине гигантскую работу. Они просмотрели и обработали подавляющее большинство (более сотни) изданий русской эмиграции в Чехословакии и отчасти за ее пределами, использовали чехословацкую периодику, а также материалы 13 архивов Чехии и России. Один только указатель имен содержит 2936 позиций. Попутно авторы уточняли названия организаций, фамилии и имена эмигрантов, фиксировали изменения в адресах указанных в книге обществ и организаций.

В результате этой подвижнической работы историки, занимающиеся проблемами русской эмиграции на территории межвоен-

ной Чехословакии, получили довольно полную и внушительную картину деятельности основных ее научных учреждений (Русский народный (свободный) университет, Русский институт, Археологический институт им. Н.П. Кондакова, Экономический кабинет С.Н. Прокоповича, Русское историческое общество, Пражский лингвистический кружок, Общество русских инженеров и техников в ЧСР, Союз русских врачей и др.) общественно-политических, земляческих (Трудовая крестьянская партия, Русский общевойсковой союз, Союз младороссов, Национальный союз нового поколения, Русский сокол, Галлиполийское общество, Общество сибиряков, Общество вольного казачества, Общество взаимопомощи русских эмигрантов в Ужгороде и др.) и культурных (Союз русских писателей и журналистов, Союз русских артистов, Русское музыкальное общество, Чешско-русское объединение, “Русский очаг”, “Скит” и др.) объединений.

Читатель может получить отчетливое представление о характере функционирования многих общественных организаций различной политической направленности и ориентации, почерпнуть информацию об издаваемых ими периодических изданиях. Не забыты и отдельные регионы тогдашней Чехословакии – Словакия и Подкарпатская Русь, где существовали эмигрантские организации. Однако им, к сожалению, уделено значительно меньшее внимание по сравнению с Прагой.

В целом издание подготовлено на высоком научном уровне, отвечающим современным требованиям к подобным публикациям, и несомненно внесет свой вклад в изучение проблем русской эмиграции первой волны.

© 2003 г. *М.Ю. Досталь*

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. L'Émigration Russe. Chronique de la Vie Scientifique, Culturelle et Sociale. 1920–1940. Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. Paris; Москва, 1995–1997; Chronik russischen Lebens in Deutschland. 1918–1941. Berlin, 1999.



Конференция “Пространство в культуре. Культура в пространстве”

В рамках реализации проекта “Культурное пространство. Славянский мир”^{*} Отделом истории культуры Института славяноведения РАН была проведена конференция “Пространство в культуре. Культура в пространстве” (июнь 2002 г.).

Конференции предшествовал Круглый стол на тему “Пространство как код культурных эпох” (июнь 2001 г.). В прозвучавших на них докладах и выступлениях на славянском и сопредельном ему европейском материале в историко-культурном плане рассматривались вопросы, которые существенны для характеристики славянского культурного пространства, творимого культурой и “обживаемого” ею – как та или иная культурная эпоха, а для позднейших времен и отдельная личность, интерпретируют пространство; как в текстах культуры при помощи различных тропов-поворотов (греч. *τροπος* имеет основным значение ‘поворот’) и других трансформаций пространства кодируется его восприятие, выражается творческая мысль; в какой мере через пространственный код, пространственные образы и понятия раскрывается картина мира, присущая той или иной национальной культуре, а также групповому и индивидуальному сознанию ее носителей; как формируется образный строй художественного творчества. Предметом внимания явились также типы движения и взаимодействия в культурном пространстве, формирование его национальных параметров в процессе идентификации и самоидентификации отдельных культур, в круг исследования вошли представления о национальном куль-

турном пространстве и, наконец, такое собственно пространственное явление, как локусы. Во всех случаях не уходили из поля зрения общие процессы – как славянская культура творит свое пространство, как оно трансформируется и структурируется, вписываясь в общеевропейские процессы и вместе с тем реализуя свои собственные творческие потенциалы.

В конференции участвовали сотрудники Института славяноведения РАН, Института истории естествознания и техники РАН, НИИ искусствоведения Академии художеств, Московской государственной консерватории, музея-усадьбы Останкино. Доклады конференции, ниже представленные авторскими тезисами, были сгруппированы в три раздела: “Семантика и структура пространства в контексте культурных эпох”, “Трансформация пространства в художественных текстах”, «Движение и взаимодействие в национальном культурном пространстве. Между “своим” и “чужим”». В вводном докладе И.И. Свириды “Пространство и культура: аспекты изучения” получили освещение историко-культурные проблемы культурного пространства, которое может быть понято как пространство *концептуальное*, творимое в особенности в художественных и других “сильных” текстах, и пространство *бытования культуры*, как та среда, в которой явления культуры существуют и вступают во взаимосвязь. Отношение человека к пространству было показано в качестве смыслообразующей константы культуры, посредством которой формируются доминантные признаки культурных эпох, а также “индивидуальность” культуры в ее различных срезам (статья на материале доклада публикуется в этом номере журнала).

^{*}Проект поддержан РГНФ (№ 01-01-00299а, 2001–2002. Руководитель И.И. Свирида).

1. Семантика и структура пространства в контексте культурных эпох

Л.Н. Виноградова в докладе “Граница как особая пространственная категория в народной культуре” отметила, что в отличие от естественных наук культурология рассматривает пространство как сугубо антропологическую категорию. Гуманитарные науки имеют дело с представлениями о таком пространстве, которое “прочитывается человеком” (В.Н. Топоров), которое осмысливается носителями традиционной культуры в качестве одного из основополагающих элементов устройства мира. Каждая этническая культура структурирует и оценивает пространство по-своему, однако существуют универсальные способы категоризации пространственных элементов, основанные на общеизвестных семантических оппозициях: *верх–низ, близкий–далекий, перед–зад* и т.п. Наиболее архаические приемы освоения человеком окружающей среды основаны на опыте познания мира через структуру своего тела (“человек есть мера всех вещей”): имеется в виду осознание простейших пространственных категорий в зависимости от местоположения человека (*вверху–внизу, спереди–сзади, справа–слева, внутри–вовне*); учет ориентации человека по отношению к сторонам света (*восток–запад, юг–север*). Расширением этого круга данных явился опыт общения человека с другими людьми, контакт с разнородными объектами: отсюда актуализация таких понятий, как *близкий–далекий, центр–периферия, зоны стыков и границ*.

Универсальным для разных этнических культур является и восприятие пространства как качественно неоднородного, оцениваемого в терминах *свой–чужой, хороший–плохой, опасный–безопасный*. По наблюдениям антропологов, устройство норы или использование пещеры в качестве укрытия (“зоны безопасности”) является общим в деятельности как человека, так и животного. И лишь с момента концептуально осмысленного строительства жилища человек создает мифологически значимый образ дома как наиболее безопасной и устойчивой точки пространства. Сооруженное человеком жилье придает окружающему миру вполне определенный пространственный смысл (признак упорядоченности) и само обретает статус наиболее организованной и безопасной части пространства (А. Байбурин).

Таким образом, для обозначенной антропологической модели пространства в ка-

честве важнейших опорных пунктов выступают: 1) позиция человека, находящегося в центре “своего” мира; 2) наличие периферии, т.е. удаленной от центра зоны отчуждения; 3) система разграничений между сферами “своего” и “чужого”. Принципиально важным элементом в структуре этой модели оказывается граница как категория, с помощью которой структурируется пространство: без нее все важнейшие противопоставленные зоны (*центр–периферия, свой–чужой, внутренний–внешний, открытый–закрытый* и т.п.) имели бы вид беспредельной аморфной протяженности.

Разделяя разные участки пространства, граница не принадлежит ни к одному из них. Она принимает на себя множество противоположных значений: ограничивает зону “своего” и обозначает соседство с “чужим”; предусматривает непроницаемость оградительной линии и в то же время возможность (либо необходимость в особых случаях) ее преодоления; обозначает качественно разные (“хорошие” и “плохие”) пространственные участки; сигнализирует об опасности “перехода” из одной сферы в другую. Именно эта перегруженность знаковыми смыслами противопоставлениями придает границе особый семиотический статус “конфликтной зоны”, зоны напряженных значений, которая характеризуется свойствами лиминальности (т.е. состоянием неустойчивости, позиции нахождения субъекта “ни тут, ни там”; от лат. *limen* ‘порог’) и трансгрессивности (переходности), т.е. необходимости преодоления, перехода через рубеж, прорыва в другое измерение.

Особенностью категории пространства (как в естественнонаучной, так и в мифологической проекции этого понятия) является осмысление ее как места, занимаемого определенным лицом или предметом, т.е. пространство – это сфера размещения предметов, тел, природных объектов. В соответствии с этим, в культурологии пространство не может быть описано иначе, чем через выявление мифологической семантики объектных экспонентов пространства (Я. Адамовский), т.е. через описание символического значения таких объектов, как: дом, дверь, окно, порог, крыльцо, двор, ворота, забор, улица, дорога, река, море, колодец, мост, поле, межа, село, город, страна, лес, гора, болото и т.п. Все эти перечисленные локативные объекты обладают (в большей или меньшей степени) признаками пограничных пространственных элементов, связывающих мир чело-

века с неосвоенной природной сферой. Особенно ярко символика границы проявляется в таких объектах “одомашненного пространства”, как порог, дверь, окно, ворота, забор. Не случайно именно эти локусы отмечены в народной культуре интенсивной концентрацией разного рода ритуалов и магических действий (см. соответствующие словарные статьи, опубликованные в первом и втором томах издания “Славянские древности: Этнолингвистический словарь”. М., 1995–1999). Например, на границе между “своим” и “чужим” пространством совершаются: похороны “нечистых” покойников; символическое погребение насекомых или вредоносных предметов, от которых стремятся избавиться; ритуалы приглашения мифологических персонажей к рождественскому ужину; охранительные и продуцирующие обряды; гадания; действия, связанные с лечебной магией, с первым всенным выгоном скота на пастбище или с обычаями введения во двор купленной скотины; свадебные обычаи, при которых невеста переступает порог дома жениха, и т.п. Символическое “замыкание” границы вокруг села совершалось в ритуале опаживания при массовом падеже скота или эпидемиях. Показателем высокой степени значимости мотива преодоления границы в фольклорных текстах может служить устойчивый набор однотипных пространственных координат, упоминаемых в славянских заговорах: в большинстве зачинов описывается, как субъект заговора выходит из дома в двери, из дверей в сени, из сеней на порог, с порога во двор, со двора в ворота, из ворот за околицу села, далее – в поле, лес, к морю, в горы и т.п.

Осмысление пограничных зон как опасных для человека проявляется в многочисленных запретах и предписаниях, относящихся, прежде всего, к людям, имевшим особый статус. Например, беременным женщинам, роженицам, новобрачным, “чужим”, прибывшим издалека, не позволялось сидеть на пороге дома, наступать на него, здороваться с хозяевами через порог, перелезать через забор, передавать вещи через межу, спать на меже, переходить вброд реку, идти по мосту и т.п.

Вместе с тем понятие границы так или иначе связано с идеей ее пересечения, с движением, направленным на преодоление рубежа, с возможностью выхода за пределы ограниченного пространства. Такие переходы из сферы “своего” в сферу “чужого” необходимы человеку повседневно: при будничном выходе из дома или выезде из се-

ла и при ритуальном перемещении в маркированных участках пространства. Интересно, однако, что в тех же терминах (условно-го выхода “за пределы”) описывается и нравственно-этическое поведение людей, нарушивших установленные нормы поведения. Так, в народной фразеологии выход за пределы жилого пространства метафорически осмысливается как ненормативное поведение или как внебрачные связи: ср. поговорки типа *свадьба под плотом, а венчание – потом; ходить с дырой в заборе* ‘о девушке, потерявшей невинность’ (польск. кашуб.); *yjmi za zaбор* ‘выкинуть плод’. Польское выражение *dziecko poszło za płotcie* ‘о случившем выкидыше’; *leżeć na płocie* ‘о состоянии алкогольного опьянения, о рвоте’; *mieć ślub pod mostem* ‘о внебрачных связях’.

Е.Б. Громова в докладе “Модуль сакрального пространства” подчеркнула, что для нового и новейшего времени, когда в пространственных искусствах исчезает смысловая основа, продиктованная их культовым предназначением, а остается только сугубая функциональность повседневной жизни, модульность архитектуры, соотнесенность с размерами человеческого тела, с размерами необходимого для определенной деятельности пространства становятся мерой художественного качества тех или иных произведений.

Однако понятие “модуль” возможно трактовать не только как размерную единицу функциональной архитектуры. Можно назвать модулем и некое задание или отдельный архитектурный элемент, ставший образцом для повторения в других произведениях архитектуры, скульптуры или прикладной пластики в силу его особых художественных или смысловых качеств.

Если такая важная структурная компонента архитектуры, как модуль, существует до и после Средневековья, то каким же образом пространственные искусства обходятся без нее в период формирования и развития европейского средневекового христианского искусства? Может быть, она видоизменяется, перемещается из пласта формальных свойств в пласт идей? Многие факты средневековой культуры показывают, что именно так и происходит. Идеальный аспект доминирует. Потому, если говорить о модульности, то прежде всего следует упомянуть общую для всех культовых построек христианства деталь, постоянную не по форме, но по смысловому наполнению, по функции – алтарную апсиду, в которой совершается литургическое действие, прообразом которой,

конечно, является пещера Гроба Господня. Многие богословы используют в своих сочинениях образ Храма Воскресения как некую устойчивую семантическую категорию. Так, например, Григорий Палама сравнивает храм с самим Христом: “Храм представляется образом Его Гроба, и даже более чем образом. Он, может быть, по иному реально являет Его”. Согласно Паламе, во время литургии за алтарной завесой лежит само тело Спасителя, и каждый верующий может узреть его духовным и телесным взором. Таким образом, можно говорить, что храм Гроба Господня является модулем сакрального пространства всей средневековой христианской архитектуры, а также зависимых от архитектуры малых форм прикладного искусства. Понятие модульности в эту эпоху почти совпадает с понятиями образа, идеи, темы, знака.

Г.П. Мельников в докладе “Городское пространство в чешской культуре XVI–XVII вв.: идеальная модель и реальность” указал на то, что квинтэссенцией городского пространства на рефлексивном уровне стало изображение города в сочинении Я.А. Коменского “Лабиринт мира и рай сердца”. Великий мыслитель опирался на реальную топографию чешского и немецкого ренессансного города, но в то же время моделировал пространство идеального христианского города. Трактовка реального городского пространства как “лабиринта греха”, преобразуемого духовным усилием человека в чисто умозрительное идеально-нравственное внутреннее пространство души истинных христиан, предвещает новое понимание города в качестве сакрализуемого и теоустраемленного социо-миро-космоса, где видимое тварное пространство есть эманация пространства трансцендентного, причем оба типа пространства устремлены друг к другу и находятся в постоянном взаимопроникновении и движении.

Л.А. Софронова в докладе “Художественное пространство русского театра XVIII века” отметила, что русский театр XVIII в. создал новый тип художественного пространства, представив на сцене мир, не соприкасающийся с реальностью, мир экзотический и далекий, но не метафизический. Христианский космос ушел со сцены. Его место заняли далекие страны: Греция, Италия, Трапезунд, “королевство дацкое”. Так были расширены границы художественного пространства, которое постоянно конкретизируется: “Прийти Фарсону в Португалию и объявить в сенате свой приезд”. Герои непременно отмечают пересечение простран-

ственных границ, подробно повествуют о своих путешествиях: “В Неаполитанию маршировать буду”. Пространство характеризует героев, служит их идентификации: “Сей из Ыталии Сын Камендацкой”. Этот вариант пространства можно назвать *географическим*, для которого характерна тенденция выведения на сцену элементов архитектуры: на ней появляются пирамида, храм, городская стена, триумфальные врата.

Пространство выглядит и как *природное*: лес, который шумит и бывает опасным, в нем проводят время “с скуки”, гуляют и прячутся от врагов; вертоград, где происходят любовные свидания; море, в котором они погибают. Этот *открытый* тип пространства противостоит *закрытому*, выраженному в антитезе *дворец/темница*, где пребывают герои, переходя от счастья к несчастью. Противопоставление дворца и темницы как верха и низа участвует в семантической структуре спектакля. Есть и не маркированный вариант пространства – “квартира”, “апартаменты”.

Таковы типы *сценического* пространства, дополненные пространством *театральным*, где происходят сражения, устремляются “грады и фортецы”, т.е. те действия, которые сложно было представить на сцене, а также и те, которые постановщик считал мало существенными.

В докладе В.И. Новикова “Масонское художественное пространство” отмечалось, что масонство было главенствующим философско-нравственным течением в России на рубеже XVIII–XIX вв. Оно оказало глубокое воздействие на все аспекты художественной жизни. Масонами являлись крупнейшие мастера русского искусства той эпохи. Очевидно, что масонство создало собственное художественное пространство, ряд элементов которого, в силу широкой популярности масонства, вошел и в повседневную жизнь. Реконструировать масонское художественное пространство можно путем анализа наследия Баженова, Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Львова, Ф.П. Толстого, Витберга и др., а также благодаря мемуарным свидетельствам. Оно, в первую очередь, характеризуется “египтоманией”, солярной и звездной символикой, перенасыщенностью масонской атрибутикой. В портретной живописи наличие такой атрибутики – свидетельство принадлежности изображаемого к ордену “вольных каменщиков”. Масонская символика является знакомым признаком художественного языка Львова в усадебном строительстве. Наиболее значительный при-

мер масонского художественного пространства представляет собой проект храма Христа-Спасителя Витберга.

И.И. Свирида в докладе “От антитезы город/сад к городу-саду” подчеркнула, что город и сад принадлежат к числу основных локусов, с которыми связана жизнь человека и развитие мировой культуры. Традиционно они антагонистически противопоставляются. Однако в культуре существовала и другая тенденция. Образ города и сада прошел через все ее эпохи, обретя, благодаря уже этому, некоторые общие проблемные аспекты, а в целом ряде случаев – сближающие их признаки и черты, в том числе символические.

Эта общность заложена в мифологические времена и была связана с процессом первоначальной сакрализации. Если прообраз сада в качестве огороженного культивированного пространства можно видеть в первом огороженном дереве как объекте культа, то прообразом города послужил алтарь. В мифопоэтической картине выделяются три типа города: небесный, земной и подземный. Аналогично происходит с садом. И сад, и город в своей символике, хотя разными путями, но оба оказались связаны с мифологемой Великой Матери, материнским архетипом. Саду, как и городу, приписывалось божественное происхождение. “И насадил Господь Бог рай в Эдеме на Востоке” (Быт. 2, 8), а Небесный Иерусалим сошел “от Бога с неба” (Откр. 21, 1). Тот и другой предстали во всей красоте. Так в Библии сошлись характеристики сада и города со знаком плюс, чтобы потом вновь разойтись.

Однако еще до того, как Иерусалим, “приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего”, спустился на землю, уже успел сложиться образ Иерусалима, “города-блудницы” (В.Н. Топоров). Сад и в дальнейшем никогда не терял своего ореола, как “сад заключенный” став символом чистоты, в то время как гораианское: “Блажен, кто вдалеке от всех житейских зол, / ... На собственных волах отцовский пашет дол, / ...Бежит он Форума...” так или иначе варьировалось на протяжении всех культурных эпох. Город и сад выступали при этом носителями двух различных начал – сад олицетворял природу, а город – цивилизацию, иначе говоря, сад представлял божественное творение, а город – мирское. При этом сад всегда хранил “воспоминание об утраченном силе религиозном опыте”, эстетическое созерцание природы, по словам М. Элиаде, “сохраняло некую религиозную значимость”.

Противопоставление *город/сад* стало навязчивой темой эпохи Просвещения, которая всегда отдавала предпочтение естественному. Вместе с тем, именно та эпоха, склонная к пацифизму и компромиссам, пыталась снять названное противоречие. Она создала и распространила городские сады, куда “с утра... / Толпою радостной ... народ / Бежит от черных труб, дымящих неустанно, / От будней городских, от зимнего тумана” (Ж. Делиль). Ранние романтики вообще отдали предпочтение городу перед деревней, где чувствовали себя более свободно, а фантастические сады часто описывали по подобию Небесного Иерусалима, созданными из самоцветов, а не как растительный мир.

На рубеже XIX–XX вв. попытка примирить антитезу *город/сад*, а также решить социальные проблемы нашла выражение в идее города-сада. Популярная и в России, однако, здесь она не имела сколько-нибудь значительных прямых последствий.

Н.В. Шведова (“Пространство родины в словацкой поэзии первой половины XX в.”) говорила о том, что тема родины для словацкой поэзии первой половины XX в. является, с одной стороны, традиционной, а с другой – постоянно актуальной. Родина в словацкой поэтической традиции – не государственное, а национально-культурное понятие. С X в. до конца XX в. словаки не имели собственной государственности, за исключением 1939–1945 гг. В 1918 г., с образованием Чехословакии, место словаков в славянском мире стало более определенным, но по-прежнему без политической самостоятельности. Родина для словацких поэтов – не только “земля под Татрами” (символ Татр был очень значим для романтиков). После 1918 г., когда уже не требовалось упорного общенационального противостояния венграм и австрийцам, все более важным становится пространство “малой родины”, окрестностей отчего дома. Предпосылки этого были и в начале века. Видные словацкие поэты – И. Краско, Э.Б. Лукач, П. Горов – происходили из деревенской среды, и в целом поэзия первой половины XX в. – поэзия “деревенщиков”, переселившихся в города. Любовью к деревенским корням окрашена и поэзия Л. Новомеского – уроженца Будапешта.

Типичная ностальгическая Словакия – это патриархальная глубинка, деревня на лоне природы, на равнине или в предгорьях. Идеализирующий взгляд на родину, унаследованный от XIX в., толкал поэтов к противопоставлению естественной деревенской жизни и испорченного города-чудовища.

Пространство родины – это целый мир, живущий по иным, более правильным законам, нежели новое место обитания. Мир этот видится сквозь призму детства, оттого в нем существуют покой и умиротворение, оттого он прекрасен в своей аскетической бедности, восполненной красотами природы. Он излечивает от “городского” отчаяния, неверия, усталости, бессилия. Впрочем, у Краско, творившего еще до 1918 г., родина осознается несвободной, в социально-политическом отношении она – страна “рабов”.

Для Краско, Лукача и Горова “возвращения” (название сборника Горова, 1944) к родным местам становятся настоящей необходимостью. Это было характерно и для других поэтов. В родном пространстве сопрягаются прошедшее время детства и нынешнее время. Связанная с родиной тема матери, также традиционная, как бы выражает защищенность этого пространства, словно в детстве мать защищает ребенка. У Краско тема родины и матери выливается в противопоставление прошлого и настоящего на пространстве “малой родины”. У Лукача, ощутившего себя скитальцем, спасительным оазисом становится тема родной земли, осмысленная и в геополитическом ключе. В сборнике “Песнь волков” (1929) поэт ограничивает национальное пространство как территорию, занятую “молодыми волками”, готовыми и к миру с соседями, и к схватке за свое “логово”. У Горова мир всеобщего кошмарного хаоса войны (1940-е годы), где тема материнства связана с образом Ниобеи, сменяется локальным миром родины, в котором присущий поэту пессимизм все же позволяет видеть светлое, гармонизирующее начало (сборник “Возвращения”).

При всей любви поэтов к родине, они порой оказываются нежеланными гостями на ней, “вечными изгнанниками” (Лукач), “святыми за деревней” (Новомеский). Образ Новомеского распространяется на всю поэзию в современном мире, она выталкивается из того пространства, к которому, казалось бы, законно принадлежит.

Итак, для словацкой поэзии первой половины XX в. пространство родины – место постоянного возвращения, хотя бы сугубо мысленного, место, где находятся “корни” человеческого бытия.

Н.М. Куренная в докладе “Пространство в культуре соцреализма” отметила, что новая общественно-экономическая формация принесла с собой невиданную ранее интенсивность движения в самых различных об-

ластях жизнедеятельности. Социальные и культурные перемещения в СССР в 30–40-е годы XX в. охватили все без исключения слои населения. Если в первые три десятилетия большинство населения страны составляли крестьяне, то к началу 1930-х годов картина резко меняется. Перемещение в географическом пространстве происходит одновременно с овладением новыми культурными парадигмами: бывшие крестьяне покидают территорию традиционной народной культуры и пытаются завоевать пространство только зарождающейся культуры соцреализма, усвоить ее язык. Одновременно они и сами становятся ее творцами и потребителями. Отчасти это объясняется в том числе и большое количество архетипических мотивов и представлений в культуре этой эпохи.

Переход из одного культурного пространства в другое предполагает пересечение границы, к тому же этот переход требует весьма долгого времени. Но в случае с соцреалистической культурой ситуация складывалась совершенно особым образом. Властям как можно быстрее было необходимо укрепить свой режим. Цели, которые они поставили перед страной, в первую очередь – коллективизация на селе и индустриализация в городе, диктовали необходимость в минимальной степени “окультурить” население и сплотить его посредством главной идеи – построения коммунизма. Была успешно проведена кампания по ликвидации неграмотности, большое количество молодежи проходит через систему рабочих факультетов. Новое культурное пространство, центром которого, по существу, становится соцреализм, проводник новой системы ценностей, осваивается большинством населения с удивительной быстротой. В докладе были также рассмотрены механизмы, с помощью которых происходил этот процесс.

2. Трансформация пространства в художественном тексте

В.В. Гаврин в докладе “Образ и пространство картины, или еще раз о композиции портрета П.А. Демидова работы Д.Г. Левицкого” указал на то, что каждое новое обращение исследователей к названному портрету (1773. ГТГ), возможно, лишь обостряет давний историографический парадокс, существующий в сфере притяжения данного образа (и творчества Левицкого в целом). Прежде отмечалось, что он интересен не столько аллегориями, сколько воплощением индивидуальности. Однако говорилось и

о том, что на примере портрета П.А. Демидова хорошо видна “широта воображения Левицкого”, который “всемерно использует свою способность к сочинению как средству ... для прославления персоны”, “облекая абстрактно-аллегорические понятия в визуально-достоверную форму” (О.С. Евангулова, А.А. Карев). В частности, заслуживает внимания мнение, согласно которому «значение предвставленной модели разъясняется именно благодаря театру “говорящих вещей”», причем сам Демидов изображен “в роли своеобразного режиссера в этом театре” (О.А. Медведкова).

Быть “завсегдатаем” в подобном театральном пространстве призывал, например, и Л. Стерн, который не без иронии отзывался о подчас присущей деятелю науки склонности затемнять свои тезисы обилием “высокопарных, трудно понятных слов, – тогда как, осмотревшись кругом, он почти наверно мог бы увидеть предмет, который сразу пролил бы свет на занимающий нас вопрос...”. Выбрав для наглядности своей мысли обычный стул, писатель представлял его подобием эмблемы целесообразного единства “остроумия” и “рассудительности”.

Эмблема из сборника “Эмблемы и символы” означает: “*Не нужен тому, кто не покоится*”. В избранном амплуа “филантропа-садовника” Демидов, действительно, не покоится: он занят важнейшим для “общественной пользы” делом: под его покровительством педагогические идеи просветителей переходили со страниц трактатов в жизнь, воплощались в воспитании “молодой поросли”. Поэтому указующий жест правой руки садовника “может быть в равной мере отнесен и к цветам в горшках, и к виднеющемуся в глубине полотна фасаду Воспитательного дома, что делает его аллегорическим: Демидов “вращивает цветы” в прямом и переносном смысле” (А.В. Лебедев).

Однако “говорящим” способен оказаться и сам сорт зелени. Дело в том, что цветами можно назвать лишь растение в ближнем к Демидову горшке, похожее на первоцвет (*primula*). Его присутствие способно радовать глаз и метафорически: подобно заботливому садовнику, богат проливает свои щедроты на питомцев Воспитательного дома, которые стали, по сути дела, “*нервыми цветами*” просветительского понимания общественной благотворительности в России XVIII в.

А в дальней от садовника кадке произрастает померанец (определено В.С. Турчиным), сходный с эмблемой “Померанцевое дерево, лучами солнечными освещаемое”,

означающей: “*Я умру без тебя*”. В этом “символическом” восклицании можно угадать и голос опекаемых Демидовым чад... И – представить данную эмблему в метафорической, витальной логике ее “роста” и “развития” к эмблеме, представляющей “Померанцевое дерево, цветущее и плодоносящее” (таково название), чей символ гласит: “*Сколько много плодов в цветущей его старости!*”

Такому аллегорическому прогнозу относительно “плодов” деятельности Демидова-“садовника” не противоречат следующие соображения. Применительно к одному роду растений (в прямом смысле) необходимо, конечно, орошение из лейки, на которую в портрете так “прилично случаю” опирается Демидов. Но по отношению к “иному роду цветов” – детям Воспитательного дома – их попечитель сам оказывается подобен данному садовому атрибуту, чья аллегорическая функция запечатлена в соответствующей эмблеме “Купидон поливает цветник” при символе: “*Поливаемые растения лучше растут*”. Поэтому не вовсе случайным для диспозиции портрета кажется сближение (и даже некоторая “общность”) силуэтов Демидова и лейки. В условиях тропологической организации портретного “текста” они едва ли не рядоположны в качестве эмблем, знаменующих близкие по смыслу “идеи для сочинения”. Как “говорящая натура” эти – одушевленный и неодушевленный – предметы функционально близки и, говоря условно, не арифметически “прибавлены”, но риторически “умножены” друг на друга, обогащая в таком взаимоподоблении репрезентацию родственных идей – общественной Благотворительности и христианского Милосердия.

Обращение к эмблемам как пространственно-смысловым координатам портрета Демидова, вероятно, свидетельствует об осведомленности Левицкого в иконологии, его умению остроумно претворять “натуроподобный” образ пространства картины в бескрайнее (для интерпретатора) панегирическое пространство образа, аллюзии которого далеко не всегда очевидны. Поэтому зрительский острый “ум, любя простор”, среди таких полотен едва ли найдет для себя слишком тесными границы портретного жанра XVIII в.

Н.В. Злыднева в докладе “Семантика пространства 20–30-х годов: *далекое/близкое*” обратила внимание на то, что на основе сопоставительного анализа мотивов прозы А. Платонова (“Чевенгур”, “Котлован”, “Джан”) и композиционной структуры жи-

вописи А. Тышлера конца 1920-х годов (“Танец с красным знаменем” и др.) выводятся универсалии пространства в их соотносительности с риторикой эпохи. К сравнению привлекаются также прозаики А. Замятин, Ю. Олеся, художники К. Петров-Водкин и А. Лабас, а также архитектура. Помимо у(дис)топической проекции и фигуры оксюморона, *далекое/близкое* как центральная пространственная оппозиция 1920–1930-х годов проливает свет на специфическую телесность этого времени. В сближении удаленных масштабов прочитывается барочно-авангардное наследие ранне-тоталитарной культуры, а также идеологема *вождь/масса*, восходящая (среди прочего) к инсектному коду русской культуры XX в. в целом.

К.В. Сергеев («“Биологическое пространство” картины: Павел Филонов и идеи витализма») указал на то, что рубеж XIX и XX вв. ознаменовался принципиальными сдвигами в двух, казалось бы, абсолютно различных сферах интеллектуальной деятельности человека – в эстетике и естественных науках. Если обратить взгляд к живописи и биологии, то мы увидим, что живопись окончательно утрачивает интерес к видимой форме объекта и устремляется к его скрытой структуре, заменяя классическую анатомию тела воображаемой анатомией идеи этого тела, рассекая его пространство вглубь, в то время как биология усилиями Ганса Дриша и его последователей начинает отходить от механицизма эпохи Просвещения, представляя процесс биологического развития как нечто разворачивающееся в пространстве под действием виталистической силы (энтелехия у Дриша и эмбриональное поле – у Гурвича), содержащейся в каждой клетке живого организма и направляющей его развитие по единой схеме. Несмотря на видимые различия этих двух интеллектуальных сфер – живописи и биологии – мы можем выделить общий вектор их интереса в указанный нами период, а именно – интерес к логике развития скрытых структур, управляющих трансформацией объекта – в первом случае объекта, создаваемого художником в пространстве картины, во втором случае – живого организма, возникающего в природе. Кубизм и супрематизм вплотную подошли к идее вычленения “биологического основания” живописного объекта, но решающий шаг сделал П. Филонов, у которого предметом интереса выступил не сам объект изображения, не его графическая, структурная основа, как у

К. Малевича, но сам процесс живописного становления изображаемого объекта.

Если верно утверждение, что предметом живописи является Природа, то Филонов – из тех, кто проник своим взглядом живописца вглубь ее биологического основания. Пространство картины Филонова – это прежде всего пространство биологическое, эмбриональное. Предмет, изображаемый Филоновым, переживает одновременно два уровня метаморфоз – трансформируются и его материя, и его форма. Зритель видит, как из “клеток” цвета, каждая из которых прописана тончайшим образом, на его глазах возникает цельная форма, подобие живого организма, и этот процесс становления формы открывается зрителю как главное событие картины. В то же время возникающая форма не единична – она на наших глазах образует логический ряд метаморфоз наподобие тех, которые наблюдает эмбриолог при развитии зародыша. Существенно, что это не является метафорой или произвольным переносом биологических идей на живописную плоскость – есть все основания считать, что именно так, биологически, Филонов воспринимал процесс создания своих картин. Иными словами, его интерес был направлен на наблюдение того “эмбрионального поля”, что движет формой картины, и цель создания этих картин – сделать жизненный процесс этого поля доступным наблюдению.

Созданная художником теория “Мирового Расцвета” (которую небезынтересно было бы сравнить с акмеизмом О. Мандельштама) в самом названии уже содержит биологический образ. Если обратиться к его излюбленному живописному образу – расцветающему цветку, то станет очевидно, что цветок для него не способен находиться лишь в одной стадии развития – художник в почти “мультипликационной” манере изображает одновременно множество стадий, соединяющих состояние бутона с расцветшим цветком. В своих теоретических работах Филонов многократно использует биологические метафоры, постоянно подчеркивая саморазвивающуюся, “виталистическую” форму эстетического объекта. В статье “Канон и закон” он говорит: “По существу чистая форма в искусстве есть любая вещь, написанная с выявленной связью с творящейся в ней эволюцией, т.е. с ежесекундным претворением в новое, функциями и становлением этого процесса”. В “Декларации Мирового Расцвета” он уже прямо говорит о “биологически сделанной картине”.

Невозможно утверждать, что Филонов был непосредственно знаком с теорией Дриша, однако то, что он успешно применил некоторые идеи витализма к эстетике и доказал правомочность этого своей живописью, и по сей день остающейся беспрецедентным художественным явлением, сомнений не вызывает. Дришевской интеллекцией в его понимании обладает уже не только живой организм, но и порождение человеческого разума – “сделанная картина”, т.е. семиотический текст. Развитие живописного произведения так же подчиняется силовому воздействию “эмбрионального поля”, как и живое существо, и этим полем, по существу, является все “биологическое пространство” картины, т.е. изображенный объект на глазах зрителя переживает становление, как бы повторяет путь зародыша к обретению окончательной формы с той разницей, что живописный объект Филонова не может обрести застывшей формы, прервать свое становление – биологическое пространство картины препятствует его оформлению.

Итак, можно сказать, что “биологическое пространство” картин Филонова выталкивает из себя любую застывшую форму, сводя изображение к формуле становления объекта (слово “формула” многократно встречается в названиях его картин), и в этой “биологической потенциальности” объекта изображения – ключ к пониманию живописного пространства Филонова.

А.Ю. Кудряшов в докладе “Музыкальная полистилистика второй половины XX в.: текст в пространстве истории” отметил, что существует извечный коррелят пространства-времени и его (по преимуществу) пессимистической эмоциональной окраски в восприятии европейца: тесно сопряженное с образом векторно-необратимой земной жизни как человека, так и его христианского Спасителя, время здесь “и есть само трагическое” (О. Шпенглер).

Текст творения европейской культуры, обладая в той или иной мере рационально выстроенной системой отношений составляющих его элементов и внутренних связей, наглядностью структуры, очевидно, во всяком случае обладает *пространственным* характером и, реализуя древнейшую ритуально-праздничную функцию искусства, в том числе и музыки, является магическим заклятьем трагического для человека текущего и изменчивого времени.

Чудо претворения времени-процесса в пространство-кристалл текста в европейской музыке совершает композитор, но во

второй половине XX в. его существование, равно как и автора в литературе, становится проблематичным (параллелизм идей Р. Барта и Вл. Мартынова). Но даже в музыкальной полистилистика, где объектом сознательного структурного моделирования становится музыкальный язык прошлого, имя “композитор” по-прежнему соответствует этимологически изначальному *componere* (‘слагать’, ‘составлять’). Однако в последние десятилетия XX в. композиторы “компонруют” не только мотивы, интонации, гармонии, ритмы, тембры, но и созданные ранее тексты (цитаты) или их узнаваемые образы (аллюзии). Композитор (от И. Стравинского до А. Шнитке и К. Пендерецкого), таким образом, становится *метакомпозитором*, а создаваемое им произведение – *метакомпозицией* (по аналогии с метаязыком, который выступает в качестве описания двух или нескольких частных, локальных языков).

Из сказанного следует, что известная в музыке система трех пространственных измерений, создающих ее *феноменальную пластику* – акустического (фактура как аналог глубины), звуковысотного (как аналог вертикали) и перцептивного (композиционная архитектуроника как аналог горизонтали) – дополняется “четвертым” измерением – символически-смысловым, в стилистическом многоголосии которого обнажается пластика иного рода – *исторически-ноуменальная*. Неслучайно термины, существующие для обозначения типов полистилистики (способов отношений между различными стилями в произведении) – диффузия и коллаж – пришли в музыковедение из области пространственных представлений. Поэтому текст полистилистического опуса – это история музыки, свернутая в пространство текста в ее либо максимально широко представленных (А. Шнитке), либо “предпочтительных” для данного композитора (А. Пярт) ценностно-выделенных моментах (что связано и с визуализацией художественного мышления в XX в. вообще).

Ю.И. Ритчик в докладе «Странствователь в пространстве культуры (“Сказки для вундеркиндов” Сигизмунда Кржижановского)» указал на то, что следует помнить: нет пространства без времени. Реальные для человека параметры они принимают, если имеется объект в движении. Говоря о *пространстве в культуре*, мы говорим о феномене отражения пространства как протяженной рядоположенности, характеризующейся единством прерывности и непрерывности, в образах искусства. Иначе: пространство в

искусстве есть пространство (или пространственные координаты) определенных образов. Пространство существует здесь в настоящем времени, в момент восприятия образов искусства. "...В пространственных искусствах – живописи, скульптуре – мы имеем движение телесных форм, света, цвета, а следовательно, и здесь содержится понимание времени. Таким же образом в динамических искусствах есть протяженность, особое понимание пространства как места звукового, словесного действия" (И.И. Иоффе).

Говоря о *пространстве культуры*, искусства, мы говорим о границах тех или иных цивилизаций, художественных эпох, об объемах культурного наследия тех или иных народов и обществ. Это пространство существует в прошлом времени, но, объективируясь, расширяется в настоящее время и надеется сохраниться в будущем времени.

"Сказки для вундеркиндов" создавались С.Д. Кржижановским (1887–1950) в Киеве. Киевский цикл сказок-притч включает 29 новелл, из которых докладчик кратко рассматривает шесть, наиболее подходящих для характеристики Кржижановского как "странствователя" по пространству культуры, в известной мере подверженного законам "броуновского движения": новеллы «Якоби и "Якобы»» (дебют Кржижановского как писателя в 1919 г. в журнале "Зорри"), "Жизнеописание одной мысли", "Грайн", "ФУ ГИ", "Прикованный Прометеем" и "Кунц и Шиллер".

Ю.И. Ритчик пришел к выводу, что "Сказки" Кржижановского – убедительное и прямое подтверждение еще одного важного тезиса в истории культуры: изучение пространства культуры и его составляющих, а тем более освоение его в художественных образах служит приращению этого пространства.

Ю.П. Гусев в докладе «Может ли "чужое" стать "своим"?» (венгерский поэт Степан Пехотный) обратил внимание, что взаимоотношения между "своим" и "чужим" в данном культурном пространстве – сфера чрезвычайно тонкая, даже, можно сказать, деликатная. Тот, кто занимается переносом "чужих" культурных ценностей на родную почву (например, переводчик художественной литературы) сталкивается с такими проблемами постоянно. Собственно говоря, художественный перевод – это не столько точный, адекватный перенос словесных формул чужого языка на родной, сколько умение приспособить чужое видение мира к восприятию своей читательской аудитории. Надо думать, неуспех огромного большин-

ства переведенных произведений у читателя чаще всего и объясняется тем, что произведения эти именно переведены, "пересажены", но не приспособлены ко вкусам и системе ценностей, господствующим на "своем" культурном пространстве.

С этой точки зрения может представлять интерес такое поэтическое явление, как "маскировка" (термин "мистификация" тут не совсем подходит). Венгерский поэт Иштван Бака, влюбленный в русскую поэзию, написал цикл стихов, замаскировавшись под некоего русского поэта Степана Пехотного (так он перевел на русский свои имя и фамилию). Материал этих стихотворений – российская действительность, русские реалии, городская обстановка Москвы и Петербурга (Ленинграда) в послереволюционные годы и в недавнем прошлом. Получив заказ на перевод этого цикла на русский язык, автор доклада обнаружил, что стихи Пехотного написаны для венгерского читателя, приспособлены к особенностям его восприятия. Приспособить эти стихи "обратно" – вещь для переводчика непозволительная, да и невозможная (речь ведь идет об авторских правах). Отсюда все сложности работы с этим переводом.

3. Движение и взаимодействия в культурном пространстве

В докладе Т.М. Николаевой "Точки культурного взаимодействия: Лермонтов – Мери-ме" речь шла о двух текстах, известных и изученных – это "Тамань" М.Ю. Лермонтова и "Кармен" П. Мери-ме. Их совпадения отмечаются в трех плоскостях: типа самого текста, сюжета и образа основных героев и способа их авторского изображения.

1. Обе новеллы построены по принципу "матрешки". В обеих есть Рассказчик 1 – носитель пассивного действия. Рассказчик 2 оказывается вовлеченным в основную фабулу. Рассказчики 2 в обеих новеллах – происхождения достаточно знатного, принадлежат к хорошему дворянскому роду. Оба они офицеры (правда, Хосе Наварро еще готовится стать офицером).

2. Отмечаются два языка героев. Основные действующие персонажи обеих новелл говорят на двух языках, причем свободно переходят с одного на другой, имея при этом определенную коммуникативную стратегию.

Дальнейшие совпадения: 3. Поиск квартиры; 4. Предлагающуюся квартиру не рекомендуют; 5. В обеих новеллах обитатели хижины – старуха и ребенок-подросток;

6. Рассказчик обращает внимание на неожиданно хороший стол; 7. У Рассказчика крадут вещи, весьма ценные; 8. Герои обеих новелл – контрабандисты; 9. Центр сюжетной интриги – женщина; 10. Она появляется внезапно; 11. Ее первое появление связано с водой; 12. Свою красоту она являет уже потом; 13. Ее появление влечет за собой отступление – рассуждение о женской “породе”; 14. У героинь совпадают особенности внешности: 15. Цвет кожи; 16. “Дикость”; 17. Глаза, необычный взгляд; 18. Необыкновенная и обращающая на себя внимание подвижность героини; 19. У обеих героинь несколько необычная привычка внезапно смеяться и хохотать; 20. Обе героини соблазняют и предают.

В докладе, обращаясь к текстам как к семиотическому пространству, были определены точки интерпретируемых (мотивированных) и немотивированных (семиотических) совпадений.

В докладе В.В. Николаенко “Символическое пространство: внутреннее и внешнее” было отмечено, что одна из главных трудностей символистских текстов для современного читателя состоит в специфическом восприятии пространства символистами. Уже с первых шагов этого литературного движения именно представление внутренних движений в образах внешнего мира вызывало насмешки и непонимание – достаточно напомнить издевательские комментарии Вл. Соловьева к брюсовским переводам из Метерлинка (“Полузабытый след ведет / Собак секретного желанья”).

Это приравнение внутреннего и внешнего равно характерно и для французского, и для русского, и для болгарского символизма. Во французской поэзии, кроме Метерлинка, вспомним знаменитое “il pleure dans ton coeur”, где это равенство утверждается уже начальным уподоблением “il pleut” (“идет дождь”) и “il pleure” (“он плачет”). В русской традиции примером может послужить хрестоматийный цикл Блока “На поле Куликовом”: в начале перед нами вроде бы переправа через реальную реку, но затем – “Наш путь – стрелой татарской древней воли / Пронзил нам грудь”, и поэтому вся описанная скачка-битва перемещается внутрь души: “Закат в крови! / Из сердца кровь струится!..”. В болгарской литературе то же встречаем у Н. Лилиева: “Пътеки моята душа изплита / Към твоята...”; “Боже, в тоя свиден път / Мойта вяра окрили!” В докладе было обращено внимание на те способы, которыми поэты указывают читателю, в

каком ключе следует читать и понимать их произведения.

И.М. Марисина (“Пространство в русском восприятии XVIII века”) указала, что Петровские реформы знаменуют конец русского Средневековья и наступление следующего большого исторического периода – Нового времени. Русский человек XVIII в. действительно обретает новое время и новое пространство. Их взаимосвязь особенно наглядно предстает путнику во время путешествия: “освоенное” пространство измеряется как километрами проделанного расстояния, так и часами, проведенными в дороге.

Эволюции пространственных представлений способствуют массовые перемещения людей во время военных походов, опыт открытия и начального освоения огромных территорий Сибири, Дальнего Востока, Арктики. Само строительство Петербурга, новой столицы – грандиозная акция по подчинению далеко не податливого пространства, причем не только сухопутного, но и водного, морского.

Мировоззренческие перемены находят адекватное выражение в искусстве. Гравюры первой трети XVIII в. (прежде всего работы А. Зубова) запечатлевают не только пространство существующее (архитектурные панорамы, шествия и процессии нередко выходят за рамки изображения), но и пространство воображаемое, в частности планируемые архитекторами в будущем постройки. Человек и его деятельность по освоению окружающего пространства становятся соотносимы с мирозданием.

Конкретные усилия отдельных личностей по созиданию собственного, частного “жизненного” пространства концентрируются на обустройстве обширных территорий дворянских имений. Пространство мировое, “внешнее” отражается в пространстве домашнем, камерном, “внутреннем”. Видовая гравюра или географическая карта на стене нередко обозначают освоенную их владельцем, пусть только мысленно, часть мирового пространства. Усадебные парки располагают к воображаемым перемещениям в “историческом” пространстве: маршруты прогулок пролегают мимо “итальянских” и “голландских” домиков, “турецких” киосков, “китайских” беседок и “античных” храмов; мемориальных объектов в память конкретных личностей или событий.

Складывание “мира путешествий” и “мира усадеб” идет в России во второй половине XVIII в. почти параллельно. Незбежное пересечение этих “культурных про-

странств” открывает еще один из многочисленных ликов “столетья безумного и мудрого”.

Г.Д. Гачев в докладе “Национальный априоризм в пространственных представлениях путешественника в чужеземье (француз де Кюстин и болгарин Й. Радичков)” указал на то, что пространство не просто дано нам извне, но произведено нами изнутри нашего “я” и его оптики, какими они сформированы в той или иной национальной культуре. Образ Природы – продукт Социума. Как исследовал Кант, Пространство и Время суть субъективные формы чувственности. И когда человек путешествует в другую страну, он со своим национальным складом пространства вступает в иноземный Космо-Психо-Логос, как в своей капсуле, из окон своего экипажа выглядывает. И тут при встрече-ошибке лучей-взглядов высекаются искры удивления, а в их свете рельефно проступают особенности как одного, так и другого образа Пространства, идет обоюдное познание.

В докладе сопоставляются французский и болгарский образы России, как они предстают в путевых очерках де Кюстина “Россия в 1839 г.” и болгарина Йордана Радичкова в книге “Неосветените дворове”, которая представляет собой живой рассказ о путешествии Радичкова и Гачева в Сибирь в 1963 г.

В докладе *В.А. Максимовича* (“Коллекционерство как единица культурного пространства”) отмечалось, что коллекционирование есть неотъемлемая часть культурного процесса, происходящего в том или ином географическом пространстве. Обладая возможностью “выбирать”, коллекционерство может в наиболее чистом виде демонстрировать те или иные идеологические, этические и эстетические требования эпохи в целом. В то же время, снижаясь до локальных процессов, можно говорить и об определенной ментальной окраске многих собраний – недаром мы вполне ясно представляем себе типично французскую или английскую коллекцию. Обладая известной долей прокламативности, коллекционирование служит определенным вектором в художественном процессе той или иной нации. Иногда эти векторы пересекаются, образуя художественное явление интернационального характера. Это отчетливо можно проследить на примере взаимодействия коллекций России и Польши.

Процесс коллекционирования в Речи Посполитой достигает своего апогея во второй половине XVIII в. Тон в этом процессе

задавал король Станислав Август, сам бывший не только страстным коллекционером, но и прекрасным знатоком искусства. “Одной нашей страстью всегда была живопись”, – признается монарх на страницах мемуаров. Его коллекция, насчитывавшая более двух тысяч картин, была не только самым крупным собранием в Польше, но и отличалась высочайшим художественным уровнем – король обладал подлинными работами Рембрандта, Рубенса, малых голландцев – Метсю, Терборха, мастеров современной ему французской школы – Фрагонара, Греза, Ланкре. Существенной частью королевского собрания были вещи польского происхождения – картины придворных живописцев Яна III Собеского, Августа II, Августа III.

Потеря Польшей национальной независимости, высылка короля в Гродно, превращение Варшавы в провинциальный город Прусского королевства были теми фактами, которые повлияли на распыление этого художественного собрания. Множество картин осело после смерти короля в Польше, значительная часть была перемещена в Россию, где вошла в состав знаменитых художественных собраний – Эрмитажа, императорской Академии художеств. Так, одной из визитных карточек Эрмитажа становится “Поцелуй украдкой” Фрагонара из дворца Лазенки под Варшавой. Картины из собрания Станислава Августа попадали в Россию и в результате конфискации, например серия картин Белотто из Королевского замка. В результате картины бывшего собрания Станислава Августа становятся неотъемлемой частью коллекционирования российского, они получают высокую оценку художественной критики – так, упомянутое полотно Фрагонара было любимой картиной Бенуа и Сомова. После революции по Рижскому трактату некоторые произведения искусства были переданы независимой Польше, но некоторые так и остались в России.

Наряду с произведениями из королевского собрания, в Россию попали многие магнатские коллекции. В 30-х годах XIX в. в Петербург вывозятся именитые коллекции Е. Сапеги из Деречина и К. Паца из Довспудов. Они находят свое пристанище в собрании императорской Академии художеств. Среди конфискованных картин были подлинные полотна Рейсдаля, Берхема, огромные аллегорические композиции Джулио Чезаре Прокаччини и Полидоро да Караваджо, портреты Лефевра, Фабра и Жерара, вариант “Интерьера собора капуцинов”

Гране и многие другие. Естественно, появление в стенах высшего художественного учреждения страны полотен такого ранга не могло не повлиять на формирование художественного языка начинающих живописцев (можно лишь предполагать, что пейзажи Куинджи в своем панорамном видении обязаны огромному полотну Рейсдаля “Беление холста в окрестностях Харлема” из собрания Сапеги).

Отдельная судьба выпала на долю собрания Мнишков, на протяжении столетий накапливавшегося в фамильном замке в Вишневцах. Значимость этого собрания была рано оценена как польской, так и российской художественной общественностью. Сам замок попал в руки Демидовых, которые предприняли во дворце серьезные реставрационные работы. Картинная галерея была частью распродана на двух аукционах в Париже, часть перешла в музей в Киеве и в Исторический музей в Москве (из этого собрания, в частности, происходят два портрета Марины Мнишек и Дмитрия Самозванца). На парижском же аукционе Салтыковыми было приобретен портрет Урсулы Мнишек кисти Левицкого (ныне в Третьяковской галерее).

Некоторые же собрания стали своего рода коллективным трудом как польских, так и российских родов. Так, собрание Браницких из Белой Церкви под Киевом вошло в собрание Воронцовых в Алушке, а часть собрания Браницких во французском замке Монтрезор, наоборот, происходит из Алушкинского дворца. Собрание Шуваловых в Петербурге, ныне переданное в Эрмитаж, было обогащено картинами, принесенными Ольгой Потоцкой (дочерью Станислава Щенсы Потоцкого) в качестве приданного ее мужу князю Нарышкину и переданными их дочерью последнему Шувалову. В XIX в. было сформировано и собрание князей Хрептович-Бутеневых (ныне в собрании ГМИИ им. Пушкина), берущее свое начало из собрания канцлера Иоахима Хрептовича.

Эти примеры рисуют не только сугубо географическое перемещение памятников, но и показывают теснейшее взаимодействие различных культур.

Н.М. Филатовой в докладе “Польское национальное пространство и развитие национальной идеи в эпоху романтизма” были проанализированы представления о национальном пространстве в польской общественной мысли первой трети XIX в. В это время исторических катаклизмов, через которые проходила Польша, когда ее границы неоднократно менялись, неизбежно

трансформировалась и концепция национального пространства. С одной стороны, в силу политической традиции, польское национальное пространство в общественном сознании длительное время отождествлялось с исторической территорией, которую занимала Речь Посполитая до 1772 г. С другой – при всем постоянстве этой политической идеи, на представлении о национальном пространстве наложила существенный отпечаток романтическая концепция нации и отечества, которая прошла в первой половине XIX в. большую эволюцию.

Польским ученым начала XIX в. (М. Мохнацкому, К. Бродзинскому, В. Суrowецкому, Л. Семеньскому и др.), для которых “не город или страна, ... а душа народа составляли предмет размышлений и творчества” (Ю. Клейнер), национальное пространство казалось не политической или географической, а прежде всего духовной, культурной категорией. По словам Мохнацкого, она определялась “комплексом всех представлений, понятий и чувств народа”. С началом эпохи романтизма в определении национального пространства политические критерии сменились этническими и лингвистическими. После восстания 1830–1831 гг. и окончательной утраты элементов государственности в учении польского мессианизма национальное пространство целиком перемещается в духовную, нравственную сферу (“сердечная отчизна” поляка-эмигранта), связывается с религиозными идеями “сообщества родственных духов” и их реинкарнации (А. Мицкевич, Ю. Словацкий, А. Товяньский). В этом выразилось стремление во что бы то ни стало сохранить не столько внешние атрибуты польского этноса, сколько духовную преемственность поколений.

Согласно *М.В. Лескинен* (“Homo historicus в культурном пространстве”), структурообразующей границей славянского культурного пространства является конфессиональная и типологическая разница между *Slavia Orientalis* и *Slavia Orthodoxa* (по определению Р. Пиккио). Православный и католический типы славянской культуры имеют явно выраженную специфику, порожденную не столько догматическими и обрядовыми расхождениями, сколько сформировавшимися в результате их принципиально несходными “идеальными типами”, моделями человека, общества, этноса. Взаимодействие этих двух типов культурного пространства протекает особым образом. Для выявления специфики структурных отличий каждого из них существенным представляется сравнение польского и русского вари-

антов на примере историко-художественных произведений XIX в. Исторические романы современников – Г. Сенкевича и Л.Н. Толстого – позволяют выявить различия исторического и символического пространства в рамках литературы и установить место человека в них.

Социологические исследования свидетельствуют, что в XIX–XX вв. основные факты, представления и образы истории задаются произведениями культуры, а не курсами истории и историософскими построениями. В этом отношении творчество Сенкевича (его знаменитая трилогия) для польской культуры и Толстого (“Война и мир”) для русского общества не только являются определяющими при формировании образа собственной истории и национальной идеи двух народов, но и отражают конфессионально-этническое своеобразие польской и русской культур.

Писатели исходят из принципиально разных взглядов: 1) на роль и влияние человека на исторические процессы (это и роль личности в истории, и участие “народных масс” в войне); 2) относительно идей прогресса в развитии наций и государств; 3) на художественную форму воплощения этих идей в литературе. На наш взгляд, эта специфика обусловлена и религиозными традициями двух народов, основные постулаты которых (согласно М. Веберу) перешли к XIX в. в светскую сферу культуры.

В докладе обосновывались следующие утверждения:

1. Авторы знаковых (т.е. наделяемых и по сей день символическим для культуры значением) произведений и историософских концепций польской и русской культур периода складывания национальных идей отражали разницу католического и православного взглядов на историю и человека.

2. Каждый из них сознательно конструировал прошлое своего народа, определенным образом понимая и используя исторические источники.

3. Очень важно, что для обоих авторов *событиями* истории (в лотмановском смысле) была война. Отношение к войне, ее негативная и позитивная роль в истории, категории, с ней связанные, до сих пор (за редким исключением) почти не находили отражения как в специальной историографии, посвященной феномену войны и воина, так и в работах, посвященных творчеству Л. Толстого и Г. Сенкевича. Между тем оппозиции *храбрость/трусость, верность/предательство, слава/позор* и другие являются главенствующими

для этих авторов, пытающихся определить сущность национального характера.

4. Необыкновенная популярность указанных произведений обусловила не только создание образа отечественной истории, но и фактически заслонила реальные историко-научный подход и анализ. Такое замещение, на наш взгляд, типично именно для славянских культур, а потому изучение данного круга проблем чрезвычайно актуально, поскольку романы Сенкевича и Толстого до сих пор конструируют историческую реальность и подпитывают национальные святыни русских и поляков.

Л.Н. Тумова в докладе “Австрийский театр в пространстве чешской культуры XIX века” предприняла попытку наметить подходы к исследованию пространства чешской культуры XIX в., имея в виду, прежде всего, наполнение его явлениями, знаками и мироощущением австрийского сценического искусства. Было отмечено, что политические, социальные, историко-культурные, коммуникационные и иные взаимоотношения избранных для анализа стран обладают четкой спецификой, вытекавшей из отсутствия национальной самостоятельности Чехии. Это определяет, в свою очередь, характер потоков культурной информации из Вены в Прагу – гастроли, выставки и т.д.

Естественно, что национально-патриотическая тема и связанная с ней образность воплощаются в разных видах и жанрах искусства не синхронно. К 60-м годам XIX в. процесс этот значительно усложняется. “Сладкий плен” традиций и преемственность уступают место иным стихиям, обусловленным интонациями, мироощущением, отличными от образов и знаков австрийского театра, заполнявшими культурное поле Чехии первой половины XIX в.

Несмотря на это, Австрия с ее национальным менталитетом и живучестью романтических традиций в философии, литературе и музыке, фольклорной красочностью, стихийной радостью познания окружающего мира, динамизмом в драматургии на протяжении всего XIX в. оказывала сильнейшее воздействие на чешскую культуру, плотно заполняя своими знаками и образами ее пространство.

Т.И. Чепелевская (“Искусство разрушения границ: “региональная” литература Словении”) указала на то, что культура словенского народа в своем развитии издавна испытывала определенное воздействие извне, со стороны культуры народов, занимавших граничные территории: в Приморье (со стороны Италии), в Каринтии и Штирии (Австрия), в Прекомурье (Венгрия). Лишь

Крайна с ее преимущественно словенским населением, казалось, была избавлена от вовлечения в этот активный культурный взаимообмен, однако и на роль словенского культурного ядра долгое время не могла претендовать (столица провинции – Любляна – стала осознаваться в качестве таковой лишь 200–250 лет назад).

Однако отражающее, пусть и не столь заметное, взаимовлияние и взаимодействие существовало и между самими указанными “внутренними” словенскими регионами или, вернее, провинциями. Развитие культурного процесса на этих внутренних границах также имеет свой характер и свою специфику, особенно ярко проявившиеся в определенные ис-

торические периоды, значимые для развития словенского национального самосознания.

В докладе на примере устного народного творчества и отдельных литературных произведений было прослежено, каким образом и под воздействием каких причин некоторые локальные фольклорные сюжеты (легенды о Короле Матьяже, Пегам и Ламбергар и др.) или литературные темы получили широкое распространение в разных словенских провинциях и естественно входили в сокровищницу словенской классической литературы, не теряя при этом своей “региональной” принадлежности.

© 2003 г. *И.С.*



К юбилею Г. П. Нецименко

Галина Парфеньевна Нецименко, профессор, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела славянского языкознания, работает в Институте славяноведения РАН с 1959 г. Галина Парфеньевна – славист широкого профиля, она разрабатывает проблематику богемистики, славянского словообразования, сопоставительного изучения славянских языков, социолингвистики, истории литературных языков, лингвокультурологии. Ею было опубликовано около 150 работ общим объемом более 200 а.л. Она – автор трех монографий: “История именного словообразования в чешском литературном языке конца XVIII–XX в. (Прилагательное)” (М., 1968), “Очерк демунивтивной деривационной системы в истории чешского литературного языка (конец XIII–середина XX в.)” (Прага, 1980), “Этнический язык. Опыт функциональной дифференциации (на материале сопоставительного изучения славянских языков)” (München, 1999).

Г.П. Нецименко – прежде всего наблюдатель и теоретик процессов, которые происходят в литературном языке, обслуживающем уже достаточно сложный, расчлененный географически и в социальных стратах этнос. Для нее самое важное – уловить новацию в языке на каждом его синхронном срезе и выявить намечающуюся или уже проявившуюся тенденцию в его развитии, понять и обосновать ее теоретически. В сущности, поиску этих явлений и методов их изучения посвящено большинство работ Г.П. Нецименко.

Эта особенность Галины Парфеньевны как исследователя достаточно ярко проявилась в уже названных ее работах по истории чешского литературного языка. Сам выбор предмета исследования в этих двух монографиях указывает на отмеченные выше черты ее исследовательского вектора. Первая работа была посвящена истории прилагательных степени качества в чешском литературном языке (конец XVIII–XX в.), вторая – истории деривации демунивтивов (конец XIII–середина XX в.). Обе эти категории при почти морфологической регулярности и полноте охвата соответствующих групп лексики характеризуются в истории славянских языков интенсивными процессами перестройки, по-разному направленными в разных языках и диалектах. Различные тенденции развития в разных стратах этнического языка, сталкиваясь в литературном языке, вступают в отношения конкуренции, и эти отношения и результаты их особенно удобно наблюдать именно на подобных словообразовательных механизмах. Естественным было дальнейшее расширение исследователем проблематики и переход к изучению языковой ситуации вообще, что нашло отражение в серии ее статей 1974–1990 гг.

В монографическом труде 1999 г. Галиной Парфеньевой предложена новая – коммуникативная – концепция членения этнического языка. Эта работа, по-видимому, открывает новый этап в исследовании проблемы языковой ситуации и является значительным вкладом в теорию социолингвистики вообще и в методику решения ею своих проблем. В наше время, когда не столько наука влияет на языковую политику, сколько сама языковая политика оказывает влияние на соответствующую науку, можно ожидать довольно острой дискуссии по решениям, предлагаемым Г.П. Нецименко в многочисленных ее новаторских работах 1985–1998 гг.

Те, кто склонен принять ее решения или, напротив, отклонить их, или просто хочет более глубоко ознакомиться с аргументами этого интересного исследователя, найдут в них богатый теоретический и конкретный материал.

Но Галина Парфеньевна не только исследователь, она ведет также большую научно-организаторскую работу: является главным координатором интердисциплинарных международных целевых проектов по изучению языка, культуры и этноса, а также по сопоставительному изучению славянских языков.

В рамках первой проблематики ею были проведены три Международных “круглых стола”, под ее руководством были подготовлены три коллективные монографии: “Язык – Культура – Этнос” (М., 1994); “Язык как средство трансляции культуры” (М., 2000); “Встречи этнических культур в зеркале языка (в сопоставительном лингвокультурном аспекте)” (М., 2002). В рамках второго направления были опубликованы труды: “Сопоставительное изучение славянского словообразования” (М., 1987); “Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков” (Warszawa, 1991. Ч. 1; М., 1994. Ч. 2); *Konfrontační studium inováčnických procesů ve slovanských jazycích*. Praha, 1999.

Галина Парфеньевна участвует в реализации международной программы “Современные изменения славянских языков” по теме “Системное и функциональное сопоставление славянских языков” (координатор проекта – Институт польской филологии Опольского университета в Польше, проф. С. Гайда). Для этого труда ею написан и опубликован раздел “Новые тенденции в развитии языковой ситуации в их теоретическом осмыслении”.

Принимала она участие и в создании ряда важных коллективных трудов: “Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе”; “Национальное Возрождение и формирование славянских литературных языков”; “Формирование этнического самосознания у славян”; “Функциональная стратификация языка” (совместно с Институтом языкознания РАН).

Галина Парфеньевна обладает ценным свойством ученого видеть актуальные проблемы науки, разрабатывать их глубоко и фундаментально, предлагая интересные и неординарные решения.

Г.П. Нещименко является членом Научного совета РАН по проблеме “Язык и общество”, а также заместителем председателя секции “Культура стран Восточной Европы XX в.” Научного Совета по истории мировой культуры РАН, членом диссертационных советов Института славяноведения РАН, филологического факультета МГУ. Она выступает в качестве постоянного эксперта Комиссии по присуждению грантов Чешской академии наук. Она – член двух комиссий при Международном комитете славистов: по литературным славянским языкам, а также по славянскому словообразованию.

Г.П. Нещименко ведет активную педагогическую работу. Она читала лекции в университетах г. Брно, Львова. С 1979 по 1989 гг. читала спецкурсы и вела спецсеминары в МГУ, методсеминар для преподавателей МГИМО. Длительное время преподавала чешский язык в МГИМО, являясь профессором кафедры языков Центральной и Юго-Восточной Европы.

И при всем при том Галина Парфеньевна не перестает восхищать нас своей энергией, молодостью и красотой.

© 2003 г. В.А. Дыбо



Памяти С.В. Смирнова

3 сентября 2002 г. скончался старейший преподаватель кафедры русского языка Тартуского университета, профессор Савватий Васильевич Смирнов (1929–2002). Сразу после окончания филологического факультета Ленинградского университета он был направлен в Тарту и проработал в тамошнем университете свыше 30 лет. Основной сферой его научной деятельности стали история славистики, лексикография, социолингвистика.

С.В. Смирнов внес весомый вклад в изучение истории славянской филологии в России и русско-славянских научных связей. В 1959 г. он защитил кандидатскую диссертацию “Профессор Д.И. Кудрявский и основные проблемы русского языкознания”, в 1978 г. – докторскую диссертацию “Русское и славянское языкознание в России (первая половина XIX в.)”. Последняя была переработана в монографию. Деятельно сотрудничая с ленинградскими и московскими славистами, С.В. Смирнов принял активное участие в создании учебных пособий “Русское и славянское языкознание в России середины XVIII–XIX в. (в биографических очерках и воспоминаниях современников)” (Л., 1980), “Русское и славянское языкознание в России середины XIX–начала XX в.” (Л., 1991), а также в капитальном коллективном труде “Славяноведение в дореволюционной России. Изучение южных и западных славян” (М., 1988). Под руководством С.В. Смирнова и при его непосредственном участии в 1970–1980-е годы Тартуский университет в своих “Ученых записках” выпустил пять сборников, специально посвященных проблемам истории славяноведения в России и других странах Европы. Выпуски под названием “Из истории славяноведения в России. Труды по русской и славянской филологии” редактировал сам С.В. Смирнов. В них публиковались ведущие слависты из многих городов СССР. Последняя крупная работа ученого при самоотверженной помощи И.Б. Еськовой увидела свет в Москве в 2001 г. Это – “Отечественные филологи-слависты середины XVIII–начала XX в. / Под общей ред. академика О.Н. Трубачева”. Последний писал об этой книге, что она “позволяет заглянуть в прошлое науки и, опираясь на опыт великих предшественников, сделать вполне определенный прогноз на будущее. Какие только события не переживало отечественное языкознание – от становления до расцвета в XIX в. и вновь до упадка в 30-е годы XX в. Казалось, ничто не предвещало тогда ее последующего возрождения; тем отраднее сознавать, что вопреки всему уже во второй половине нынешнего столетия центр славистической научной мысли переместился в Россию” (С. 6).

Труды С.В. Смирнова всегда отличало прекрасное знание литературы и источников, скрупулезный анализ всех обстоятельств жизни и научной деятельности изучаемых им славистов. Одним из первых в отечественном славяноведении он стал разрабатывать жанр биографистики. Во многом благодаря его усилиям Тарту в 1970–1980-е годы превратился в один из крупных центров историко-славистических исследований в СССР.

Памяти С.П. Бобровой

25 марта 2002 г. ушла из жизни видный воронежский славист Светлана Петровна Боброва.

Она родилась 26 февраля 1929 г. в г. Перми в семье инженера-железнодорожника. Немалую роль в формировании ее интереса к истории сыграли время и семейные традиции: ее отец, П.Н. Бобров, с юношеских лет участвовал в революционном движении, за участие в революции 1905–1907 гг. отбывал царскую ссылку.

С 1 сентября 1946 г. С. Боброва – студентка историко-филологического факультета Воронежского университета. Первоначально она собиралась специализироваться по истории Отечества, но постепенно ее все более стали интересовать проблемы всеобщей истории: древнего мира, курс истории которого читал доцент С.Н. Бенклиев, средних веков, темпераментно излагаемый А.Е. Москаленко, и особенно истории южных и западных славян, “разделенных” между А.Е. Москаленко и И.Я. Разумниковой. Но кардинальный поворот наступил с приездом в Воронеж профессора И.Н. Бороздина, возглавившего кафедру всеобщей истории. С.П. Боброва стала ученицей маститого отечественного ученого, наследника лучших традиций русской науки конца XIX–начала XX в. Под руководством И.Н. Бороздина Светланой Петровной была выполнена сначала дипломная работа “Общественный строй Сербии по Законнику Стефана Душана”, а затем, по завершении аспирантуры, защищена в 1956 г. кандидатская диссертация “Феодалное землевладение в Сербии в XII–первой половине XIV в.». С сентября 1956 по июль 1988 г. жизнь С.П. Бобровой была связана с работой в ВГУ доцентом кафедр всеобщей истории, истории древнего мира и средних веков, истории средних веков и зарубежных славянских народов. В научной продукции С.П. Бобровой можно выделить два основных периода, различающихся как хронологически, так и тематически. Первый, до начала 1970-х годов – конкретно-исторический, связанный с изучением сербской средневековой социально-экономической проблематики; второй – исследование проблем отечественной и зарубежной историографии южных славян и биоисториографии.

Изучение истории средневековых славянских государств в конце 1940-х–первой половине 1950-х годов было одним из кардинальных научных направлений советской славистики, активно исследовавшей социально-экономические процессы славянского средневековья. Определение общих закономерностей становления и развития феодальных отношений, сопоставление с аналогичными процессами в западноевропейском обществе С.П. Боброва строила на анализе сохранившихся источников. Для Сербии XII–XIV вв. это были Законник Стефана Душана, хрисовулы (королевские и царские грамоты), сохранившиеся фрагменты описи монастырских владений, нарративные материалы.

На втором этапе своей научной деятельности Светлана Петровна основное внимание уделяла историографии. Особо следует отметить написанные ею статьи об историках. Ею были созданы портреты известных деятелей исторической науки, в первую очередь тех из них, чье творчество так или иначе было связано с ВГУ. Важным аспектом работы С.П. Бобровой являлось также руководство научной работой студентов и молодых историков не только Воронежского университета, но и других вузов. Светлана Петровна отличалась искренней любовью к людям, подлинным профессионализмом, подчеркнутым вниманием и уважением к чужому мнению, что сочеталось в ней с требовательностью и принципиальностью по профессиональным вопросам, бескомпромиссностью и готовностью до конца отстаивать свое мнение.

Занятия научной работой требовали от С.П. Бобровой самоотречения и подлинного мужества. В связи с тяжелой болезнью в последние годы ей приходилось писать научные труды лежа. И тем не менее, представить С.П. Боброву без работы было просто невозможно, а высокий уровень ее последних статей вызывает уважение. С.П. Боброва была удивительно светлым человеком, такой она останется в нашей памяти.

Новые издания Института славяноведения РАН

В 2000–2002 гг. в Институте славяноведения РАН вышли следующие издания:

- * *Адельгейм И.Е.* Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка. М., 2000.
- * *Аксенова Е.П.* Очерки из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы. М., 2000.
- * *А.С.Пушкин и мир славянской культуры.* М., 2000.
- * *Балто-славянские исследования.* 1998–1999. М., 2000.
- Белова О.В.* Славянский бестиарий. Словарь названий и символики. М., 2000.
- * *Бернштейн С.Б.* Из проблематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000. Век Екатерины II. Дела балканские. М., 2000.
- * *Головачева А.В.* Стереотипные ментальные структуры и лингвистика текста. М., 2000.
- * *Задорожнюк Э.Г.* Социал-демократия в Центральной Европе. М., 2000.
- * *Калиганов И.И.* Георгий Новый у восточных славян. М., 2000.
- * *Кирилина Л.А.* Словенцы и революция 1848–1849 гг. М., 2000.
- * *Книга в пространстве культуры.* М., 2000.
- Лыбунцев Ю.А., Щавинская Л.Л.* Православная литература белорусов современной Польши. М., 2000.
- * *Маркович Д.Ж.* Разговор с друзьями. М., 2000.
- * *Международные организации и кризис на Балканах. Документы.* М., 2000. Тома I, II.
- * *Национальный вопрос на Балканах через призму мировой революции.* М., 2000. Ч. I.
- * *Плотникова А.А.* Словари и народная культура. Очерки славянской лексикографии. М., 2000.
- * *Политика и поэтика. Сб. статей.* М., 2000.
- Поляки и русские в глазах друг друга.* М., 2000.
- Поляки и русские. Взаимопонимание и взаимонепонимание.* М., 2000.
- * *Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVII века.* М., 2000.
- Славяно-германские исследования.* М., 2000. Т. 1–2.
- * *Славянские народы: общность истории и культуры.* М., 2000.
- * *Словения. Путь к самостоятельности. Документы.* М., 2000.
- * *Хаванова О.В.* Нация, отечество, патриотизм в венгерской политической культуре: движение 1790 года. М., 2000.
- * *Центральная Европа в поисках новой региональной идентичности.* М., 2000.
- * *Беседы на Лубянке. Следственное дело Дёрдя Лукача. Материалы к биографии.* М., 2001.
- * *Восточнославянский этнолингвистический сборник. Исследования и материалы.* М., 2001.
- * *Гугнин А.А.* Серболужицкая литература XX века. М., 2001.
- * *Европейские революции 1848 г. “Принципы национальности” в политике и идеологии.* М., 2001.
- * *Из Варшавы: Москва, товарищу Берия. Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945 гг.* М.-Новосибирск, 2001.
- * *Институт славяноведения. 1999–2000.* М., 2001.
- * *Исследования по славянской диалектологии.* 7. М., 2001.
- * *История литератур западных и южных славян.* М., 2001. Т. 3.
- * *Калынь Л.Э.* Фонетическая программа слова как пространство фонетических изменений в славянских диалектах. М., 2001.
- * *Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. Сб. статей.* М., 2001.

- **Костюшко И.И.* Польское национальное меньшинство в СССР (1920-е годы). М., 2001.
- **Молошная Т.Н.* Грамматические категории глагола в современных славянских литературных языках. М., 2001.
- **Николаев С.Л., Толстая М.Н.* Словарь карпатоукраинского торуньского говора. М., 2001 г.
- Никольский С.В.* Над страницами антиутопий К. Чапека и М. Булгакова (поэтика скрытых мотивов). М., 2001.
- **Смирнов Л.Н.* Словацкий литературный язык эпохи национального возрождения. М., 2001 г.
- **Стыкалин А.С.* Дьердь Лукач – мыслитель и политик. М., 2001.
- Фрейдзон В.И.* История Хорватии. М., 2001.
- **Агапкина Т.А.* Мифопоэтические основы славянского народного календаря. Весенне-летний цикл. М., 2002.
- **Аникеев А.С.* Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и США в начальный период “холодной войны” (1945–1957). М., 2002.
- **Вендина Т.И.* Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002.
- **За балканскими фронтами Первой мировой войны.* М., 2002.
- **Исследования по славянской диалектологии.* 8. М., 2002.
- **Левкиевская Е.Е.* Славянский оберег. Семантика и культура. М., 2002.
- **Лескинен М.В.* Мифы и образы сарматизма. Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.
- **Литература Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы.* М., 2002.
- **Признаковое пространство культуры.* М., 2002.
- **Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков.* М., 2002.
- **Советский фактор в Восточной Европе. 1944–1953. Т. 2: 1949–1953.* М., 2002.
- **Софронова Л.А.* Три мира Григория Сковороды. М., 2002.
- **Социокультурные трансформации второй половины XX в. в странах Центральной и Восточной Европы.* М., 2002.
- **Studia Polonica. К 70-летию Виктора Александровича Хорева.* М., 2002.
- **Тоталитаризм. Исторический опыт Восточной Европы.* М., 2002.
- **Утопия и утопическое в славянском мире.* М., 2002.
- **Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в.* СПб., 2002.
- **Шемякин А.Л.* Смерть графа Вронского. М., 2002.
- **Шерлаимова С.А.* Литература “Пражской весны”: до и после. М., 2002.

Книги, отмеченные звездочкой, Вы можете приобрести по адресу: 117334, Москва. Ленинский пр-т, 32А, корп. В, Институт славяноведения РАН, комн. 921. Тел. (095) 938-54-66, Гурьева Маргарита Васильевна. Только за наличный расчет.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Khavanova O.V.</i> (Moscow). "Hungarian" and "Magyarian" Projections of the Hungarian Nation in Social Life and Educational System in the End of XVIII Century	3
<i>Svirida I.I.</i> (Moscow). Space and Culture: Aspects of Research	14

COMMUNICATIONS

<i>Kurbatov O.A.</i> (Moscow). "The Lithuanian Campaign in 7168" by the Prince I.A. Khovansky and the Battle Near Polonka.....	25
<i>Nosov B.V.</i> (Moscow). Katherine's II Government Policy with Regard to Rzecz Pospolita and the Russian Military Plans in 1762–1763	41
<i>Kosik V.I.</i> (Moscow). Russian Youth in the Emigration	47
<i>Savicky I.</i> (Prague). An Emergence of Paris as a Capital of the Russian Emigration	54
<i>Serapionova E.P.</i> (Moscow). T.G. Masaryk, K. Kramař and the Russian Emigration	60
<i>Krisan M.A.</i> (Warsaw). Searching of the Lost World. The Functioning of the Peasants Culture Elements in Emigration (Based on Polish Peasants Letters of XIX–XX Cent.)	66

PUBLICATIONS

<i>Zavarin A.A.</i> (San-Francisco). From the Memories	74
--	----

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Vassil'ev M.A.</i> Д.Е. Мишин. <i>Сакалиба</i> (славяне) в исламском мире в раннее средневековье	83
<i>Mishin D.E.</i> Е.С. Галкина. Тайны русского каганата.....	93
<i>Kosik V.I.</i> Бялата емиграция в България. Материали от научна конференция. София, 23–24 септември 1999 г	97
<i>Serapionova E.P.</i> L. Harbul'ova. Ruská emigrácia a Slovensko (Pôsobenie ruskej pooktóbrovej emigrácie na Slovensku v rokoch 1919–1939)	101
<i>Dostal' M.Yu.</i> Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice	104

SCHOLARLY LIFE

<i>I.S.</i> The Conference "Space in Culture. Culture in Space"	106
---	-----

JUBILEES

<i>Dybo V.A.</i> Toward the Anniversary of Galina Neschimenko.....	121
--	-----

OBITUARIES

<i>Dostal' M.Yu.</i> In Memoriam of S.V. Smirnov	123
In Memoriam of S.P. Bobrova.....	124
New Publications of the Institute for Slavic Studies, RAS	125

Сдано в набор 04.04.2003 Подписано в печать 27.05.2003 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отт. 6,2 тыс. Уч.изд.л. 12,0 Бум.л. 4,0
Тираж 581 экз. Зак. 7363

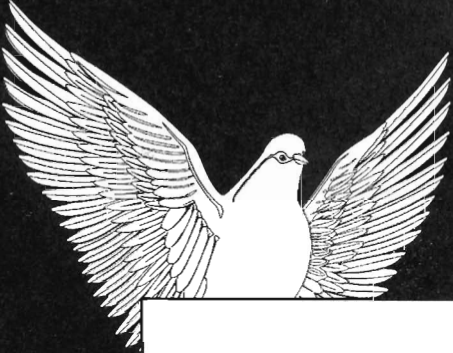
Свидетельство о регистрации № 0110184 от 4 февраля 1993 года
В Министерстве печати и информации Российской Федерации
Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20
Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6
E-mail: vasilyev@FL09.tower.ras.ru

ПОДПИСКА-2004
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ

1 ТОМ Российские и зарубежные газеты и журналы
2 ТОМ Книги и учебники



1 ТОМ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!

Журналы Российской академии наук можно выписать в любом почтовом отделении России по объединенному Каталогу Федерального управления почтовой связи (ФУПС). Академические журналы объявлены в этом каталоге в разделе “АПР”